

The background of the cover is a vibrant illustration. It features a woman's face in profile, looking upwards and to the right. She has long, wavy reddish-brown hair and is wearing a large gold hoop earring. Her face is framed by a dense arrangement of various flowers, including purple and yellow blooms, and green foliage. A large orange and black butterfly is perched on her hair near the top left. The overall style is artistic and colorful.

Исабель Альенде

Лавина историй —
ярких, страстных
и человеческих.
Альенде — подлинный
и богатый талант.

The Washington Post

ЕВА ЛУНА ИСТОРИИ ЕВЫ ЛУНЫ

18+

Большой роман (Аттикус)

Исабель Альенде

Ева Луна. Истории Евы Луны

«Азбука-Аттикус»

1987, 1989

УДК 821.134.2
ББК 84(7Чил)-44

Альенде И.

Ева Луна. Истории Евы Луны / И. Альенде — «Азбука-Аттикус», 1987, 1989 — (Большой роман (Аттикус))

ISBN 978-5-389-23785-8

Исабель Альенде — суперзвезда латиноамериканской литературы наряду с Габриэлем Гарсиа Маркесом, одна из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательница многочисленных премий, автор книг, переведенных на десятки языков и выходящих суммарными тиражами, которые неуклонно приближаются к ста миллионам экземпляров. «Ева Луна» (1987) и «Истории Евы Луны» (1989) — ее ранние книги о том, что в конечном счете ничего важнее историй в этом мире нет. Генералы, ученые, партизаны, непризнанная святая, бандиты, хозяин цирка, обитатели дворца-призрака... «Ева Луна» — сказание о сказительнице, роман о сиротке, служанке, фабричной работнице, сценаристке, обладательнице бурной биографии и буйной фантазии. Ради всего человеческого, что есть в ней и в нас, она сочиняет сказки, мешая правду с вымыслом, и страждущих утешают ее «Истории» — головокружительная карнавальная круговерть, в которой перед нами проносятся любовь и вера, безумные совпадения и неистовые страсти, много печали, смех, немало крови и все то, из чего истории обычно состоят. Здесь говорит Ева Луна — Оливер Твист, Шахерезада и барон Мюнхгаузен, трикстер, подводный камень, проницательная свидетельница, которая протянет руку помощи или просто, одарив любопытным взглядом, запомнит, сохранит память и потом расскажет о том, что видела. «Истории Евы Луны» на русском языке публикуются впервые.

УДК 821.134.2
ББК 84(7Чил)-44

ISBN 978-5-389-23785-8

© Аљенде И., 1987, 1989

© Азбука-Аттикус, 1987, 1989

Содержание

Ева Луна	8
Глава первая	9
Глава вторая	28
Глава третья	39
Глава четвертая	66
Глава пятая	84
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Исабель Альенде

Ева Луна. Истории Евы Луны

Isabel Allende

EVA LUNA

Copyright © Isabel Allende, 1987

CUENTOS DE EVA LUNA

Copyright © Isabel Allende, 1989

All rights reserved

БОЛЬШОЙ
РОМАН

Перевод с испанского Владимира Правосудова, Анны Денисовой

Оформление обложки Вадима Пожидаева

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© В. В. Правосудов, перевод, 2009

© А. П. Денисова, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Пресса о «Еве Луне» и «Историях Евы Луны»:

Все истории Евы Луны полны риска: жизнь и смерть, страстная любовь, страстная вера, убеждения, честь – здесь все балансирует на краю.

The Washington Post

Безоглядное эротическое странствие по миру, полному волшебства.

Harper's Bazaar

«Ева Луна», эта мощная и радостная книга, – не просто развлечение. Это плутовский роман, новый «Жиль Блас». «Плут» отвечает за легкомыслие и веселье, но прочие персонажи сгибаются под гнетом бед и скорби. Пленительная Ева Луна поступает как всякий «плут» – над гнетом она насмехается.

Paris Match

Альенде умеет травить смешные и чувственные байки, но также со всем своим талантом рассказчицы напоминает нам о том, что за пределами нашего удобного бытия есть и другая, незримая вселенная, где абсолютно реальны и бедность, и горе, и пытки.

The Nation

Хитросплетенная история, «Тысяча и одна ночь» пополам с плутовскими похождениями Тома Джонса в уникальном латиноамериканском контексте.

Financial Times

Ева Луна – олицетворение откровенного и неутолимого аппетита к традиционному сказительству. Сама она – редкая птица: персонаж оригинальный, незабываемый и многомерный; большинству «реальных» людей до нее далеко. И то же касается Исабель Альенде.

The Herald (Глазго)

«Ева Луна» – рог изобилия, извергающий истории густым и вольным потоком случаев и случайностей, автобиографии и вымысла. Этот роман – гобелен, плотная фантазийная паутина.

The Commercial Appeal (Мемфис)

Милосердие и страсть... любовь и месть... завораживающе. Истории Альенде можно читать и перечитывать до скончания веков.

Orlando Sentinel

«Ева Луна» – чтение приятное и бодрящее. Альенде снова доказала свой талант сочетать личное и политическое с трагедией, фантазией и остроумием.

Santa Barbara News-Press

«Ева Луна» – замечательная книга, до отказа набитая странным и фантастическим, чувственным и эротическим. Здесь уникальный и мощный голос Исабель Альенде окончательно сформировался.

Publisher's Weekly

Исабель Альенде неизменно возвращает нам веру в пьянящую силу традиционного сказительства.

The San Diego Union

«Истории Евы Луны» изысканны, а образность роднит их с поэзией.

The New York Times

«Истории Евы Луны» – завораживающие и неповторимые, яркие и неотвязные: еще многие поколения будут читать их вновь и вновь.

Los Angeles Times

Заманчивые с первых строк, глубоко чувственные и неприкрыто романтические истории.

Chicago Sun-Times

«Ева Луна» дразнит воображение неторопливо и соблазнительно. Этот коктейль из мифа и политики и есть самая суть жизни.

Ham & High

Ева Луна

И младшая сестра сказала Шахерезаде: «Заклинаю тебя Аллахом, сестрица, расскажи нам что-нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи».

«Тысяча и одна ночь»¹

¹ Перевод М. Салье.

Глава первая

Меня зовут Ева, что означает «жизнь», – по крайней мере, так было написано в книге, по которой мама выбирала мне имя. Я родилась в самой дальней комнате темного, сумрачного дома и росла среди старой мебели, книг на латыни и человеческих мумий, что, впрочем, не смогло привить мне склонности к меланхолии, ибо появилась я на свет с дыханием сельвы, уже запечатленным в моей памяти. Мой отец, индеец с янтарными глазами, был родом из тех краев, где сливаются воедино сто рек; от него пахло лесом, а еще он никогда не смотрел на небо прямо и открыто, поскольку вырос под сводчатым потолком джунглей и подсматривать за обнаженным небом казалось ему почти непристойным. Консуэло, моя мать, провела детство в тех заколдованных местах, где авантюристы всех мастей веками ищут золотой город, тот самый, который когда-то вроде бы видели конкистадоры – те немногие из них, кому удалось вернуться из самых дальних и дерзких походов и экспедиций. Эти волшебные пейзажи навсегда оставили след в ее душе, а сама она каким-то образом сумела передать эту незримую печать мне, своей дочери.

Миссионеры подобрали Консуэло еще младенцем, когда она даже не умела ходить: перемазанный грязью и экскрементами детеныш вполз на дощатую пристань, словно крохотный Иона, извергнутый из чрева кита. Отмыв странное существо, братья-миссионеры убедились, что перед ними девочка, и это обстоятельство ввергло их в некоторое смущение и посеяло определенные сомнения в их душах; впрочем, делать было нечего: вот он, невесть откуда взявшийся младенец, в конце концов, не топить же его в реке; в общем, срамные места девочки прикрыли пеленкой, вырезанной из старой рубахи, гноящиеся, почти нераскрывавшиеся глаза продезинфицировали, капнув в них лимонного сока, а когда дело дошло до крещения, то нарекли ее первым женским именем, какое пришло в голову. От поисков правдоподобной версии появления на свет этого ребенка было решено отказаться, воспитывали же девочку без особых изысков и не балуя ласками: миссионеры не сговариваясь решили, что раз уж Провидению было угодно сохранить ей жизнь до той поры, когда они ее нашли, стало быть, Оно само же и позаботится о ее духовном, равно как и физическом развитии, а в худшем случае на небо вознесется еще одна невинная, не успевшая согрешить душа. Четко определенного места в строгой иерархии миссии для Консуэло так и не нашлось. Она не была служанкой, да и отношение монахов к ней по сравнению с другими индейскими детьми, учившимися в школе при миссии, было совсем другое, что, впрочем, не помешало одному из братьев закатить ей хорошую оплеуху, когда она по простоте душевной поинтересовалась, кто из монахов придется ей папой. Мне мама рассказывала, что ее положил в плывущую по реке лодку какой-то голландский моряк: наверняка эту легенду она придумала сама, чтобы раз и навсегда отвязаться от моих расспросов на эту тему. Мне почему-то кажется, что она совершенно ничего не знала ни о своих родителях, ни о том, как и почему появилась она в том месте, где ее подобрали миссионеры.

Миссия была крохотным оазисом в бурном море тропической растительности, в густой массе переплетенных ветвей, стволов и лиан, закрывающей землю от берегов рек до подножия огромных скал, торчащих среди нее, словно свидетельство того, что и у Создателя бывают ошибки и неудачи. Время в тех краях течет неравномерно, расстояния обманчивы и само пространство искривлено: неопытный путешественник будет ходить там по кругу, раз за разом возвращаясь к исходной точке своего пути. Густой влажный воздух напоен ароматами цветов и трав, которые то и дело перебивает резкий запах человеческого пота и звериная вонь. От невыносимой жары нет спасения, воздух неподвижен, порывы ветра не в силах проникнуть под густые кроны деревьев, и в этой духоте спекаются камни и закипает кровь в жилах. По ночам в небе вместо звезд, скрытых пологом джунглей, пляшут мириады светящихся москитов, от

укусов которых сон путника, застигнутого ночью в дороге, превращается в сплошной нескончаемый кошмар; джунгли ни на час, даже глубокой ночью, не погружаются в тишину: отовсюду доносятся птичьи и обезьяньи крики, а вдаль, у подножия гор, яростно режут водопады, так что шум срывающейся с уступов воды порой напоминает канонаду. Сама миссия представляла собой скромное по размерам здание со стенами из глины, перемешанной с соломой, а рядом возвышалась смотровая башня из длинных жердей, соединенных крест-накрест; на верхней перекладине ее был подвешен колокол, сзывавший окрестных жителей к мессе. Как и все дома в округе, церковь покоилась на сваях, вкопанных в илистое дно то и дело разливавшейся реки, ее мутные, отливающие опалом воды текли неизвестно откуда и неизвестно куда. Со стороны казалось, что не вода обтекает хижину, а они сами, сорвавшись со свай, плывут, покачиваясь на едва заметной волне, среди бесшумно испаряющихся водную гладь каноэ, среди мусора, отбросов, дохлых собак и крыс и неожиданно появляющихся белоснежных водяных лилий.

Подплывая к деревне, любой путешественник мог еще издали разглядеть Консуэло: ее рыжие волосы языком пламени плясали на фоне вечной зелени окружающей деревню сельвы. Ее товарищами по детским играм были деревенские ребята – маленькие индейцы с торчащими животами, дерзкий попугай, лихо цитировавший «Отче наш», пересыпая слова молитвы разнообразными ругательствами, и обезьяна, сидящая на цепи, прикрепленной к ножке стола; время от времени обезьяну одолевала то ли жажда свободы, то ли инстинкт продолжения рода, тогда она забиралась на стол и, глядя в лесную чащу, издавала призывные вопли, обращенные к сородичам; впрочем, эта тяга к запретному и недоступному охватывала пленницу не слишком часто и не на долгое время: покричав и постовав немного, обезьяна снова залезала под стол и принималась за свое главное занятие – вычесывание и выгрызание блох. В те годы даже в самых дальних и забытых богом уголках сельвы уже стали появляться протестантские проповедники: они раздавали индейцам Библии и настраивали их против Ватикана; эти самоотверженные подвижники тащили через джунгли телеги с пианино и органчиками, предлагая неслыханное в этих краях развлечение: совместное распевание псалмов. Поняв всю серьезность и опасность такой конкуренции, католические священники и монахи тратили все силы на проповеди среди колеблющейся паствы, соблазняемой еретиками; поэтому времени заниматься невесть откуда взявшейся девчонкой у них не оставалось, и Консуэло была предоставлена самой себе: кожу ее словно выдубили вода и палящее солнце, кормили ее кукурузой и рыбой, да и этой нехитрой снеди не всегда хватало, чтобы наесться досыта; девочку постоянно одолевали вши и блохи, все тело было искувано москитами, зато сама она была свободна как птица. От нее требовали оказывать посильную помощь по хозяйству, присутствовать на службах и время от времени посещать уроки чтения, арифметики и катехизиса; все остальное время она познавала мир так, как считала нужным: флору она постигала на вкус и на запах, за фауной гонялась, насколько хватало сил и ловкости, а воображение и память ее наполняли бесчисленные образы, цвета и ароматы, сказки и истории, пришедшие с далекой границы, мифы и легенды, принесенные рекой.

Ей было двенадцать, когда она познакомилась с одним человеком – закаленным солнцем и непогодой португальцем, на первый взгляд сухим и суровым, но полным внутреннего света и радости. Он повсюду с собой таскал кур, которые отличались невероятной, даже по куриным меркам, страстью ко всему блестящему: как мародеры в захваченной деревне, они жадно склевывали все яркое и сверкающее, что попадалось им на глаза. Затем наступал час расплаты: хозяин одним точным, как у хирурга, движением ножа испаривал им зуб и извлекал на свет крохотные золотые песчинки и чешуйки; разбогатеть на добытом таким путем золоте ему не удавалось, но в то же время собранного драгоценного урожая вполне хватало, чтобы питать его надежды и иллюзии. Однажды утром португалец увидел белую девочку с копной волос цвета пламени: подобрав юбку, она стояла около одной из хижин, по щиколотку утопая в топкой жидкой грязи. Мужчина лишь присвистнул от удивления; его конь понял этот свист

как команду двигаться вперед. Увидев перед собой лошадиные ноги, девочка подняла глаза, ее взгляд встретился со взглядом португальца, и они улыбнулись друг другу. С того дня они стали проводить много времени вместе: он просто растерянно созерцал это чудо природы, а она с удовольствием училась петь португальские песни.

– Пойдем собирать золото, – сказал мужчина в один прекрасный день.

Они забрались в лес так далеко, что уже потеряли из виду вышку с колоколом; португалец вел девочку за собой по одному ему известным тропам. Весь день они искали выпущенных в джунгли кур, подманивая их петушиным кукареканьем и, когда удавалось разглядеть их сквозь густую листву, ловя прямо на лету. Пойманную курицу девочка зажимала коленями, а португалец точным взмахом вспарывал зоб и запускал в рану пальцы. Если курица не умирала на месте, он зашивал разрез, сноровисто действуя иглой с суровой ниткой; птицам, которым так повезло, предстояло послужить хозяину еще раз. Остальных он сложил в мешок, чтобы продать в деревне на еду или охотникам в качестве приманки. Предварительно они с Консуэло ошипали погибших птиц и сожгли на костре все перья, потому что перья приносят несчастье и вызывают у домашней птицы такую болезнь, как типун. В деревню Консуэло вернулась лишь под вечер, довольная, с загадочным выражением лица и перепачканная кровью. Попрощавшись со своим другом, который подвез ее на лодке к террасе миссии, она проворно вскарабкалась на настил по веревочной лестнице. Здесь ее взгляд тотчас же уперся в четыре грязные сандалии, принадлежавшие двум святым братьям из Эстремадуры: монахи поджидали свою непутевую воспитанницу с самым мрачным видом, несомненно решив отказаться от дальнейшего сосуществования с этой странной рыжей девчонкой.

– Настало время отправить тебя в город, – сказали они.

Просить и умолять было бесполезно. Она не смогла добиться не только отмены приговора, но даже отсрочки приведения его в исполнение. Ей даже не разрешили взять с собой в город ни попугая, ни обезьяну: эти верные товарищи по детским играм были сочтены неуместными в той жизни, которая ее ожидала. Она отправилась в путь вместе с пятью индейскими девочками, которым, так же как и ей, монахи связали ноги. Так они могли не опасаться, что увозимые из родной деревни дети выпрыгнут из пироги и отправятся домой вплавь. Португалец попрощался с Консуэло, не прикоснувшись к ней; он долго смотрел на нее, а затем протянул прощальный подарок – золотой самородок в форме коренного зуба; в оставленный природой канал в этом сверкающем зубе был продет тонкий шнурок. Она повесила подарок себе на шею и не расставалась с ним почти всю жизнь, до того дня, пока не встретила человека, которому посчитала возможным вручить этот драгоценный подарок в знак любви. Португалец понимал, что видит ее в последний раз, такой он ее и запомнил: девочкой-подростком в переднике из выцветшего перкаля и в соломенной шляпе-сомбреро, натянутой до самых ушей; босая и печальная, она молча помахала ему на прощание рукой.

Сначала их путь на каноэ лежал по бесконечным притокам огромной реки, через умопомрачительные, подавляющие воображение джунгли; затем их высадили на берег и повезли верхом на мулах по плоскогорьям, по краям, обрывающимся вниз крутыми уступами; ночами тут было так холодно, что даже сны замерзали; через несколько дней им пришлось пересест в кузов грузовика, который держал путь по влажным равнинам через бесконечные рощи бананов и карликовых ананасов; иногда дорога выходила на песчаники, порой шла напрямую через солончаки, но ничто – ни непривычный пейзаж, ни красоты природы – не могло по-настоящему удивить Консуэло; не зря говорят: тот, кто появился на свет в самом удивительном, самом невероятном уголке мира, уже не способен изумляться и приходить в восторг от увиденного. За время долгой дороги она выплакала все слезы, какие были у нее, не оставив ничего про запас – для будущих невзгод и несчастий. Когда же слезы и всхлипы кончились, она плотно сжала губы, решив про себя в дальнейшем раскрывать рот лишь в случае крайней необходимости, то есть когда от нее настойчиво потребуют ответа на какой-либо вопрос. Путь до столицы занял

несколько дней, а там монахи повели перепуганных девочек в монастырь Сестер Милосердия, и какая-то монашка открыла дверь одним из связки ключей, которую она носила на поясе, наподобие тюремной надзирательницы. Она провела вновь прибывших в большой тенистый двор, со всех сторон окруженный галереями; в центре двора возвышался фонтан с расписными изразцами, над ним кружились голуби, скворцы и колибри, присаживаясь на край чаши, чтобы утолить жажду. Девочки, в одинаковых серых форменных балахонах, сидели кружками в тени и длинными иглами шили матрасы или плели корзины из ивовых прутьев.

– В трудах и молитве обретете вы искупление грехов. Я пришел не лечить здоровых, но заботиться о больных. Пастух, нашедший заблудшую овцу, радуется ей больше, чем при виде всего стада. Таковы они, слова Божьи, да святится имя Его, аминь, – так или наподобие этого выразилась монахиня, сложив руки под складками своего одеяния.

Консуэло не стала вникать в смысл услышанного и вообще не придавала словам монахини большого значения. Слишком усталой была она после долгой дороги, а кроме того, ее подавляло и угнетало ощущение запертости: никогда раньше ей не доводилось видеть высоких каменных стен, а уж тем более оказаться внутри. Глядя на очерченный карнизами крыши прямоугольник неба, она думала, что вот-вот умрет от удушья. Потом ее отделили от остальных вновь прибывших девочек и отвели в кабинет настоятельницы: причиной тому был цвет ее кожи и глаз. Много лет в монастырь не попадали белые девочки; большую часть воспитанниц составляли креолки из самых бедных районов города или же индейские девочки, которых миссионеры насильно привозили из дальних деревень.

– Кто твои родители?

– Не знаю.

– А когда ты родилась?

– В год кометы.

Уже тогда Консуэло умела приукрашивать поэтическими образами то, чего не знала наверняка: любая нехватка информации подменялась каким-нибудь красивым оборотом. Услышав впервые от кого-то о комете, она тотчас же воспользовалась этим знанием, чтобы четко и убедительно обозначить дату своего рождения. Давным-давно, еще в детстве, кто-то рассказал ей, что люди ждали появления этого небесного тела со страхом. Многие считали, что комета появится на небе как огненный дракон, что она пронзит и сожжет атмосферу, ее хвост окружит нашу планету облаком ядовитого газа, а жара наступит такая, что расплавятся камни и вся земная жизнь погибнет. Некоторые люди настолько уверовали в неизбежность катастрофы, что кончали жизнь самоубийством, чтобы не сгореть заживо или не задохнуться при падении кометы; но другие – их было гораздо больше – предпочли провести последние, как предполагалось, дни жизни в обжорстве, пьянстве и беспорядочных союзах. Даже Благодетель Отечества и тот несказанно удивился, увидев, как небо на глазах становится зеленым, а еще больше он поразился, узнав, что под воздействием кометы волосы у мулатов распрямляются, а у китайцев, наоборот, завиваются. Все это произвело на него такое впечатление, что он даже приказал выпустить на свободу кое-кого из своих политических противников, находившихся к тому времени в тюрьме уже бог знает сколько лет и успевших позабыть солнечный свет и цвет неба. Приказание Благодетеля было выполнено, несмотря на то что в душах некоторых из помилованных и выпущенных на свободу еще не до конца был подавлен мятежный дух, который они, без сомнения, могли бы попытаться передать молодежи и вообще будущим поколениям. Считаться рожденной в самый разгар всего этого переполоха – такая мысль не могла не покорить Консуэло, несмотря на слухи, что все младенцы, которые родились в тот год, несли на себе печать ужаса, сохранявшуюся на их лицах и много лет спустя, когда сама комета уже пропала из виду, как, в общем-то, и положено несущемуся во Вселенной шару, состоящему из льда и звездной пыли.

– Первым делом нужно будет избавиться от этого дьявольского хвоста, – решила мать настоятельница, взвесив на руках пучок сверкающей медной проволоки, раскинувшейся по плечам и спине новой воспитанницы.

Она распорядилась хорошенько укоротить девочке волосы и вымыть ей голову смесью щелока и осветляющего шампуня; эта экзекуция преследовала две цели: выведение вшей и придание волосам менее дерзкого цвета, чем тот, что был дан им от природы. В результате у девочки выпала едва ли не половина уже укороченных волос, а оставшиеся приобрели какой-то глинистый оттенок, что явно больше соответствовало характеру и целям религиозного образования, чем изначальный, огненный цвет.

Три года провела Консуэло в монастыре, и за все это время чувство одиночества ни на миг не покидало ее; ей все время было холодно: даже в те дни, когда солнце согревало ее тело, лед, сковывавший душу, не успевал растаять. Она отказывалась верить, что жалкое, чахлое солнце, освещавшее монастырский двор, и есть то самое небесное светило, которое до удущья прогревало отобранную у нее сельву. За стены монастыря не проникала мирская суэта, даже такие ее проявления, как экономический бум и рост национального благосостояния; этот процесс начался в тот день, когда кто-то из крестьян, копая колодец, вместо воды добрался до забившей фонтаном черной, вонючей, вязкой жидкости – ни дать ни взять оставшегося от динозавров навоза. Вскоре выяснилось, что страна буквально плавает в море нефти, скрытой в ее недрах. Это открытие изменило даже политическую ситуацию: диктатура чуть-чуть ослабела, да и материально жить стало легче. Объяснялись эти чудесные превращения очень просто: состояние тирана и его ближайших родственников выросло настолько, что с их барского стола и народу стали перепадать кое-какие крохи. В первую очередь жизнь стала меняться в городах; впрочем, ветер перемен, одним лихим порывом приподнявший женские юбки, дул прежде всего с нефтяных промыслов, где в основном и работали здоровенные, богатырского вида инженеры, бригадиры и надсмотрщики, приехавшие в страну с далекого севера; традиции и давние устои на глазах сдавались под натиском новых веяний; однако в монастыре Сестер Милосердия об этом не только не знали, но и знать не хотели. Жизнь здесь по-прежнему началась с первой молитвы в четыре часа утра: никто не собирался менять раз и навсегда установленные порядки; день заканчивался, когда колокола били шесть вечера: наступал час раскаяния в совершенных грехах, внутреннего очищения и смиренного признания неизбежности смерти, ибо любая ночь могла стать последней, могла обернуться дорогой туда, откуда нет возврата. Тишина, натертые воском каменные плиты в коридорах, запах ладана и лилий, негромко, чуть нараспев произносимые молитвы, потемневшие от времени деревянные скамьи, белые, ничем не украшенные стены, – всепроникающее и всеподавляющее ощущение Божественного присутствия ни на миг не покидало тех, кто находился в монастыре. В этом большом здании со стенами из необожженного кирпича и черепичной крышей, помимо монахинь и нескольких служанок, жили шестнадцать девочек-подростков, в основном круглые сироты или подкидыши; здесь их приучали носить обувь, пользоваться вилкой, а также учили выполнять несложную работу по хозяйству: это делалось для того, чтобы впоследствии девушки могли стать служанками в богатых домах, – как-то само собой разумелось, что на большее им рассчитывать не приходится. Консуэло разительно отличалась от всех воспитанниц, по крайней мере внешне; монахини сочли это знаком, данным свыше, и приложили немало усилий, чтобы разжечь в душе рыжеволосой девочки огонь истинной веры и убедить ее со временем дать обет и посвятить себя служению Церкви. К их немалому удивлению, девчонка инстинктивно отвергала все, что предполагало проведение большей части жизни в монастырских стенах. Она ничего не делала назло, у нее не было никаких предубеждений, но почему-то ее душа отказывалась принимать того бога-тирана, о котором толковали ей монахини; куда ближе оказалось ей другое божество – то, что несло в себе женское, материнское начало и олицетворяло собой радость и сострадание.

– Та, о ком ты говоришь, Святая Дева Мария, – объяснили ей.
– Так она и есть Бог?
– Нет, она мать Бога.
– Ну понятно, а кто у них там на небе главный – Бог или Его мама?
– Замолчи, неразумная! – приказали ей. – Молчи и молись. Попроси Всемогущего просветить твою душу, погрязшую в невежестве, – советовали монахини.

Консуэло приходила в часовню и подолгу рассматривала алтарь, увенчанный распятием, исполненным с наводящей ужас реалистичностью. Преодолевая страх, она приступала к чтению длинного списка молитв, обращенных к Деве Марии, но очень скоро мысль ее сбивалась и воображение уносило девочку в те далекие края, где с ней происходили самые невероятные приключения. В этих воображаемых путешествиях перемешивалось все: воспоминания о сельве и персонажи Священного Писания, каждый со своими страстями, бедами, жертвоприношениями и чудесами. Она с жадностью глотала впечатления от всего, что видела и слышала, что происходило вокруг; с легкостью она заучивала ритуальные заклинания ежедневной мессы, запоминала, о чем говорилось во время воскресных проповедей, читала благочестивые книги, прислушивалась к ночным шорохам, к тому, как свистит и завывает ветер, заблудившийся между колоннами галерей, внимательно всматривалась в лики святых и отшельников, чьи статуи были расставлены в нишах церковных стен, не переставая удивляться беспомощно-придурковатому выражению их лиц. Она научилась быть тихой и послушной, а дарованный ей бездонный источник историй и сказок хранила как клад, в тайне от окружающих. Это сокровище она прятала от мира до тех пор, пока я не дала ей возможность освободить сдерживаемый в ее душе столько лет поток слов, мыслей и образов.

Неподвижная, то и дело бледнея от бушующих в ее голове мыслей и образов, сложив на груди руки, Консуэло часами неподвижно стояла перед алтарем в часовне; монахини стали даже поговаривать о том, что девочка блаженная, что ее посещают божественные видения; впрочем, по мнению матери настоятельницы, каталонки по происхождению, а потому женщины весьма практичной и здравомыслящей, в данном случае речь шла не о каком-либо подобии святости, а скорее о неизлечимом душевном расстройстве, выражающемся в рассеянности и оторванности от реального мира. Что ж, мать настоятельница действительно отличалась трезвым подходом ко всему и, в отличие от других монахинь, не была склонна принимать на веру любые, даже самые правдоподобные сообщения о чудесах. А поскольку девушка не проявляла никакого энтузиазма и усердия ни в шитье матрасов, ни в плетении корзин, ни в изготовлении просвирок, настоятельница окончательно уверилась, что ее духовное воспитание и трудовое образование закончены; сделав такой вывод, она определила Консуэло служанкой в дом врача-иностранца – профессора Джонса. Она сама отвела девушку туда, где ей предстояло теперь жить и работать; дом профессора находился на окраине города, у подножия холма, который в наше время городские власти объявили общедоступным парком; здание давно уже не ремонтировалось и выглядело довольно обшарпанным, но по-прежнему еще производило впечатление роскошного жилища, как и подобает особняку, выстроенному в стиле французской колониальной архитектуры. Владелец же дома произвел на Консуэло еще более подавляющее впечатление. Даже много месяцев спустя она не могла вспоминать первую встречу с ним без содрогания. В гостиную вошел человек в фартуке мясника и с какой-то странной блестящей металлической штукой в руке; он не поздоровался, а перед тем как выпроводить настоятельницу, обменялся с ней несколькими фразами на неизвестном языке; саму же девушку он отправил на кухню кивком и неким нечленораздельным звуком – не то урчанием, не то хрюканьем. При этом он даже не взглянул на нее – его внимание было целиком захвачено очередным научным экспериментом; она же, против собственной воли, не могла оторвать от него взгляд: никогда в жизни ей еще не доводилось видеть человека столь страшного и грозного и в то

же время (она не могла себе в этом не признаться) по-своему столь красивого и величественного. Чем-то он напоминал ей Иисуса с какой-нибудь картинки: золотистое сияние, золотистая борода, как у наследного принца, и глаза какого-то невозможного цвета.

Этому человеку предстояло стать единственным хозяином в жизни Консуэло; сам он долгие годы занимался разработкой и совершенствованием методики бальзамирования и консервации тел умерших: человечество даже не догадывается, какую услугу оказал ему профессор Джонс, унеся эту тайну с собой в могилу. Кроме того, он занимался созданием лекарства от рака: в свое время он выяснил, что эта болезнь гораздо реже встречается в тех регионах мира, где типичным заболеванием, приводящим к летальному исходу, является малярия; как истинный исследователь, он не мог не обратить внимания на это и после долгих размышлений пришел к выводу, что состояние онкологических больных можно улучшить, если выставлять их обнаженными на съедение тучам болотных комаров. Следуя той же универсальной логике, он провел множество экспериментов по исследованию воздействия ударов разной силы по голове подопытных – слабоумных от рождения или по призванию; эти исследования он проводил на основании статьи, вычитанной в одном из номеров «Вестника эскулапа», где описывался курьезный с точки зрения медицины случай: якобы кто-то где-то после мозговой травмы превратился из заурядного человека в гения. Кроме всего прочего, доктор был убежденным анти-социалистом. Однажды он не поленился подсчитать, сколько денег придется на каждого человека, если все мировые богатства и материальные ценности распределить поровну между всеми живущими на земле. Выяснилось, что эта доля составляет какие-то жалкие тридцать пять сентаво, если не меньше, а следовательно, все революции по крайней мере бесполезны. Внешне он был бодр, энергичен и здоров как бык; единственной напастью, постоянно одолевавшей его, было плохое настроение. Знаний, хранившихся у него в голове, хватило бы на нескольких мудрецов, а манерами он почему-то напоминал церковного служку. Его технология бальзамирования трупов, хранившаяся в глубокой тайне, была проста, как все гениальное в этом мире. Никакого потрошения, никакого вынимания кишок, никакой трепанации черепа с удалением мозга не было предусмотрено. Для консервации тела не требовалось пропитывать его формалином и набивать изнутри просмоленной паклей, чтобы получить в результате ссохшуюся черносливиную с изумленными глазами из крашеного стекла. Нет, он поступал иначе: просто сливал кровь из свежего трупа и заменял ее жидкостью, которая питала мертвое тело, будто оно по-прежнему было живым. Кожный покров умершего, пусть бледный и холодный, не разлагался, волосы не выпадали, а ногти оставались целыми, причем в некоторых случаях даже продолжали расти. Пожалуй, единственным неудобством при использовании этой методики в домашних условиях был проникающий повсюду специфический кисловатый запах жидкости, применяемой вместо крови. Впрочем, со временем родственники покойных привыкали к этому характерному аромату и переставали его замечать. В те времена лишь немногие из пациентов соглашались по доброй воле лечиться укусами малярийных комаров; еще меньше находилось желающих повысить свой интеллектуальный уровень с помощью нескольких ударов увесистой дубинкой по разным частям черепа; впрочем, не слишком успешные эксперименты в этих двух направлениях с лихвой перекрывала та известность, которую приобрел профессор Джонс как мастер бальзамирования; его слава не только пересекла границы страны, но даже перенеслась через океан: не раз к уважаемому профессору приезжали коллеги из Европы и деловые люди из Северной Америки, и все они жаждали вызнать у него заветную формулу и секретную методику. Все подобные визиты заканчивались одинаково: гости убирались восвояси с пустыми руками. Подлинным шедевром профессора стало сохранение изрядно поврежденного тела одного известного в столице адвоката; именно этот случай принес профессору действительно мировую известность. Покойный адвокат при жизни был известен своей склонностью к либерализму, и никто особо не удивился, когда почтенного юриста по приказу Благотетеля Отечества изрешетили пулями при выходе из муниципального театра после представ-

ления сарсуэлы² «Голубка». Погибшего доставили профессору Джонсу еще теплым; он был насквозь продырявлен бесчисленным количеством пуль, но по удивительному стечению обстоятельств лицо его осталось невредимым. Несмотря на то что покойный являлся идеологическим оппонентом профессора, слывшего сторонником авторитарных режимов и с подозрением относившегося к демократии, которая, по его мнению, была чересчур вульгарна и имела слишком много общего с социализмом, он с воодушевлением взялся за предложенное ему тело; результат превзошел все ожидания: ближайшие родственники жертвы политического убийства усадили забальзамированного покойника в домашней библиотеке, нарядили его в лучший костюм, поставили перед ним чернильницу и вложили перо в холодную руку. Его берегли от моли и смахивали тряпочкой пыль, и так продолжалось несколько десятилетий – даже после смерти адвокат-либерал продолжал оставаться в некотором роде живым свидетельством жестокости диктатора, который, кстати, так и не рискнул предпринять какие-либо шаги, чтобы положить конец этому безобразию, ибо одно дело – расправляться с неугодными, пока они живы, и совсем другое – связываться с покойниками.

Как только Консуэло удалось побороть в себе страх от первой встречи с профессором и принять мясницкий фартук и могильный запах, исходивший от хозяина, как неотъемлемые, но незначительные детали его образа, она почувствовала себя в его особняке как дома. Сам он оказался вполне сносным человеком, легкоранимым, а порой вызывающим что-то вроде сочувствия или даже симпатии. В общем, по сравнению с монастырем жизнь в доме профессора показалась Консуэло раем: здесь никому и в голову не приходило вставать ни свет ни заря, чтобы вознести молитву во благо всего человечества; никто не требовал от нее подолгу стоять на коленях на рассыпанном по полу сухом горохе, чтобы искупить своими страданиями чьи-то там грехи. Как и в старинном здании монастыря Сестер Милосердия, в профессорском доме время от времени появлялись привидения, которые, впрочем, вели себя вполне скромно. Призраков видели все, кто бывал и жил в особняке, – все, кроме профессора Джонса, который упорно отказывался поверить в их существование по какой-то смехотворной причине: ему, видите ли, не хватало научной базы для обоснования возможности существования привидений. Консуэло выполняла самую тяжелую работу по дому, но у нее оставалось время, чтобы мечтать и думать; при этом никто не сбивал ее с мысли и не пытался истолковать ее молчание ни как болезнь, ни как признак святости или блаженности. Она выросла сильной и выносливой; ей и в голову не приходило отказаться выполнять какие-либо распоряжения хозяина; чему-чему, а уж беспрекословному повиновению монашки ее научили. Она собирала и выносила мусор, стирала, гладила, чистила туалет и ежедневно принимала лед для погреба. Его привозили в больших мешках, навьюченных на мулов; при этом куски льда были пересыпаны крупной солью. А еще она ассистировала профессору Джонсу во время приготовления той самой секретной консервирующей жидкости и разливала ее по большим аптекарским склянкам; в ее обязанности также входило поддержание забальзамированных тел в надлежащем состоянии: она сметала с них пыль, надевала принесенную родственниками одежду, расправляла морщины и предсмертные гримасы, причесывала покойных и подкрашивала им щеки румянами. Ученый был очень доволен такой служанкой и ассистенткой. До ее появления он всегда работал один, страшаясь, что кто-нибудь сможет вывести формулу его заветного консерванта. Со временем он свыкся с постоянным присутствием Консуэло в лаборатории и перестал волноваться по этому поводу: с его точки зрения, эта молчаливая девушка не представляла никакой опасности. Он так привык, что она всегда находится рядом и готова выполнить любое его распоряжение, что перестал даже задумываться о том, куда повесить снятый пиджак или шляпу. Войдя в дом, он просто ронял эти предметы гардероба, точно зная, что в нужный миг Консуэло окажется рядом и подхватит вещи на лету. Ни разу за все годы службы она его не подвела

² Сарсуэла – испанская разновидность оперетты.

и уж тем более ни в чем не обманула. Со временем профессор стал просто слепо доверять своей служанке, и вскоре Консуэло стала единственным, кроме него самого, человеком, кому была ведома тайная формула бальзамирующей жидкости; впрочем, это тайное знание оказалось ей ни к чему, по крайней мере, никакой выгоды она от него не получила. Мысль о том, чтобы предать хозяина и продать самый главный его секрет, даже не приходила ей в голову. Она терпеть не могла возиться с трупами, и, по правде говоря, ей никак не удавалось взять в толк, зачем многие люди пытаются сохранить своих умерших близких как можно дольше и как можно более похожими на тех, какими они были при жизни. Будь от этого какой-нибудь толк, рассуждала Консуэло, природа сама придумала бы, как сделать, чтобы люди после смерти не разлагались. И все-таки ближе к концу жизни она нашла объяснение тяге человечества, свойственной ему с незапамятных времен: по всей видимости, стремление сохранить умерших такими, как при жизни, связано с тем, что, когда покойный находится рядом – в буквальном смысле слова всегда под рукой, – человеку легче хранить память об усопшем.

Так и текла жизнь Консуэло год за годом, без каких бы то ни было событий и потрясений. Ни о каких переменах в окружающем мире она совершенно ничего не знала: из практически полной изоляции в стенах монастыря она попала в другое, не менее уединенное место – дом профессора Джонса, жившего едва ли не отшельником. В доме, конечно, было радио, и купили его, собственно говоря, для того, чтобы узнавать новости; другое дело, что Консуэло чаще всего слышала не радиопередачи, а оперные арии: пластинки с записями своих любимых опер хозяин прослушивал на сверкающем патефоне одну за другой. Газет он не выписывал – в дом приходили лишь научные журналы; ученому было мало дела до того, что происходило в стране да и в мире; куда больше, чем сиюминутная суэта, его интересовали абстрактные знания, исторические хроники или же прогнозы, касающиеся какого-то гипотетического будущего. Дом был набит книгами: стеллажи и книжные шкафы превращали внутреннее пространство в настоящий лабиринт. Книжные полки тянулись практически по всем стенам от пола до потолка: бесконечные ряды томов в кожаных переплетах поражали воображение; блестящие полупрозрачные страницы, золотые обрезы и тисненные буквы названий, – казалось, на этих полках представлена в печатной форме вся мудрость, накопленная человечеством. Книги стояли на полках в полном беспорядке: профессор без всякой системы, без всякого каталога отлично помнил, где находится любой том, и мог найти нужную книгу с закрытыми глазами. Пьесы Шекспира соседствовали с «Капиталом», изречения Конфуция – с «Жизнью тюленей», альбомы старинных морских карт стояли рядом с готическими романами и древнеиндийской поэзией. Консуэло каждый день тратила несколько часов на вытирание пыли с этих бесконечных полок. Когда очередь доходила до последнего шкафа, пора было приниматься за дело с самого начала. Девушка аккуратно брала в руки каждый том, нежно, словно лаская, стирала с него пыль и позволяла себе роскошь на пару минут погрузиться в неведомый внутренний мир незнакомой книги, открыв ее наугад, на первой попавшейся странице. Мало-помалу она стала узнавать те книги, что уже попадались ей в руки, и постепенно запомнила тот порядок, в котором они располагались на полках. Она так и не решилась попросить у хозяина разрешения брать книги к себе в комнату и читать. По вечерам она тайком снимала какой-нибудь том с полки, уносила к себе, а утром так же незаметно ставила на место.

Консуэло понятия не имела о большинстве политических перемен, катастроф, трагедий и преобразований своей эпохи, за исключением студенческих волнений, прокатившихся по стране и оказавших весьма ощутимое воздействие на жизнь обитателей уединенного пригородного особняка. Надо же было такому случиться, что активная фаза этих волнений, равно как и не менее активное их подавление властями, произошла в тот самый день и час, когда профессор Джонс выбрался в центр города, чтобы пройтись по аптекам и купить необходимые для его экспериментов препараты. Поход закончился тем, что профессора чуть не растоптала конная полиция. Консуэло пришлось самой делать ему примочки и перевязки и, кроме

того, кормить супом и поить пивом из детского рожка с соской, до тех пор пока у него не зажили челюсти и не встали на место едва не выбитые в уличной мясорубке зубы. Рассеянный, думающий только о науке, доктор не учел, что отправляется в город за нужными препаратами в день карнавала – не столько веселого, сколько разнузданного праздника, который каждый год собирал свою дань: несколько погибших и несколько десятков покалеченных в пьяных драках. Впрочем, на этот раз никому и в голову не пришло бы подсчитывать тех, кто пал жертвой привычного веселья, подпитываемого алкоголем: другие, более жестокие и значимые события привели в движение давно не видевшую ничего подобного, словно погрузившуюся в сон, страну. Кто бы мог предположить, что самая серьезная стычка между распоясавшимися студентами и полицией произойдет именно в тот момент, когда профессор Джонс решит перейти центральную улицу города. На самом деле то, что впоследствии было названо бунтом, началось двумя днями раньше; отправной точкой принято считать избрание студентами университетской королевы красоты путем прямого голосования: был создан прецедент всеобщих, честных, по-настоящему демократических выборов – впервые в стране. Водрузив на голову красавицы соответствующую ее королевскому рангу корону, зачинщики беспорядков выступили с поздравительными речами, в которых, помимо цветистых комплиментов победительнице, позволили себе сказать такие слова, как «свобода» и «независимость». Очень быстро студенческий карнавал перерос в митинг, а затем выплеснулся в виде демонстрации на городские улицы. Ничего подобного в стране никогда не случалось, и полиции потребовалось двое суток, чтобы прийти в себя от изумления, осознать происшедшее и нанести ответный удар по бунтовщикам; на пути несущихся галопом конных полицейских как раз и оказался профессор Джонс, вышедший из очередной аптеки с охапкой флаконов и склянок и пачкой рецептов. Нет, он, конечно, видел приближающиеся к нему шеренги всадников со сверкающими мачете, но даже не подумал отойти в сторону или ускорить шаг: мысли его были заняты другим – какой-то химической формулой, чрезвычайно важной для дальнейших исследований. Крики и цокот копыт он воспринял не как предупреждение об опасности, а как звуковой раздражитель, свидетельствующий, что жители города, как всегда, предаются какому-то низкопробному веселью. Что произошло в следующие секунды, он так и не смог вспомнить. В себя он пришел уже на носилках, на которых его несли в больницу для нищих. Сориентировавшись в пространстве, он сумел пробормотать что-то вполне убедительное, что заставило носильщиков сменить курс и отнести его домой. При этом он вынужден был всю дорогу придерживать рукой челюсть, чтобы едва державшиеся на своих местах зубы не выпадали от тряски и не рассыпались по мостовой. Его положили на постель в спальне, обложили со всех сторон подушками, а пока он приходил в чувство, полиция сумела схватить зачинщиков мятежа и бросить их за решетку; впрочем, избивать задержанных дубинками полицейские не рискнули, потому что среди бунтовщиков оказалось немало отпрысков самых знатных и влиятельных в стране семей. Затем произошло непредвиденное: задержание части студентов несколько не напугало остальных, а, наоборот, подняло волну протеста в знак солидарности, и уже на следующий день десятки молодых добровольцев пришли к дверям полицейских участков и тюрем с требованием отпустить и их за решетку. Их оформляли и распределяли по камерам по мере поступления, но буквально через несколько дней были вынуждены отпустить вместе с зачинщиками беспорядков: в тюрьмах просто не оказалось достаточно камер для такого количества заключенных, а кроме того, стоявший над городом крик и стон сотен матерей начал неблагоприятно сказываться на аппетите и пищеварении Благодетеля.

Несколько месяцев спустя, когда зубы профессора Джонса уже встали на свои места и заново приросли к челюсти, а сам он стал оправляться от тяжелейшего морального потрясения, студенты вновь взбунтовались; на этот раз мятеж был поддержан и некоторыми молодыми офицерами. Наученные горьким опытом, власти церемониться не стали: войска под руководством военного министра жестоко подавили восстание за каких-то семь часов. Те из мятеж-

ников, кому удалось спастись в этой бойне, спешно уехали за границу; так, не то в ссылке, не то в эмиграции они прожили до дня смерти Благодетеля Отечества, который скончался тихо и мирно в собственной постели, а не подвешенным за яйца на фонарном столбе на главной площади столицы, о чем так мечтали его противники и чего не без оснований опасался американский посол.

Вместе со смертью старого каудильо подошел к концу долгий период жестокой диктатуры; профессор Джонс засобиравшись в дорогу – он намеревался перебраться обратно в Европу, уверенный, как и многие другие, что страна неминуемо погрузится в экономический и политический хаос. Тем временем члены кабинета министров, не на шутку перепуганные случившимся и всерьез опасавшиеся народного восстания, собрались на экстренное совещание, чтобы решить, как быть дальше; в этот момент кто-то и предложил обратиться за помощью к уважаемому иностранному доктору. Это предложение было мотивировано тем, что поскольку в свое время труп Сиды Кампеадора³, привязанный к седлу верного коня, смог дать бой маврам, то почему бы покойному президенту Виталисио⁴ не продолжать править после смерти в виде забальзамированной мумии, восседающей на троне тирана. Ученый муж явился во дворец в сопровождении Консуэло, которая несла чемоданчик с реактивами и по дороге с непроницаемым лицом разглядывала город: дома с красными крышами, трамваи, людей в соломенных шляпах и двухцветных ботинках, президентский дворец, впечатление от роскоши которого было, безусловно, несколько смазано всеобщим беспорядком и следами поспешного бегства некоторых его обитателей. В течение нескольких последних месяцев, когда всем, кто знал истинное положение дел, было ясно, что дни диктатора сочтены, система безопасности дворца как-то сама собой ослабла и стала давать сбои; теперь же, через несколько часов после смерти правителя, в президентском дворце царил такой беспорядок, что ни у ворот, ни внутри здания вообще никто не остановил профессора и его ассистентку; у них даже не поинтересовались, кто они такие и с какой целью прибыли во дворец. Они прошли через множество гостиных и коридоров и наконец оказались в самой дальней части дворца – в той самой комнате, где и покоился человек, еще совсем недавно обладавший неограниченной властью, отец едва ли не сотни внебрачных детей, владелец огромного, просто неслыханного состояния. Тот, кто десятилетиями вершил судьбы страны и всех своих многочисленных подданных, лежал на постели в ночной рубашке, в тонких лайковых перчатках и был насквозь пропитан собственной мочой. У входа в президентскую спальню собрались несколько наложниц и кое-кто из перепуганной свиты; никто, включая и самих министров, не знал, как поступить: бежать за границу или остаться и посмотреть, сможет ли мумия Благодетеля продолжать руководить страной. Профессор Джонс подошел к трупу и стал разглядывать его с тем интересом, с каким энтомолог рассматривает очередное попавшее к нему занятное насекомое.

– Доктор, это правда, что вы умеете сохранять тела умерших? – спросил заплывший жиром мужчина с усами, очень похожими на те, что носил диктатор.

– Мм...

– Я бы настоятельно рекомендовал вам больше этим не заниматься, по крайней мере здесь, сейчас и с этим конкретным покойником. Я даю вам этот совет по праву человека, который теперь будет управлять страной, ибо покойный президент был моим единоутробным братом, – пригрозил профессору другой мужчина, посчитавший необходимым подкрепить свои слова, словно невзначай коснувшись здоровенного пистолета, заткнутого за пояс.

³ Сид Кампеадор (Родриго Диас де Бивар; 1043–1099) – кастильский дворянин, самый знаменитый участник Реконкисты, главный герой испанского национального эпоса «Песнь о моем Сиде» (XII в.) и многочисленных романсов.

⁴ Виталисио (исп. vitalicio) – «пожизненный»; в данном случае – пожизненный президент.

В этот момент в спальне президента появился военный министр, который, в свою очередь, тоже хотел поговорить с ученым, причем для этого отвел его в сторону, чтобы их разговор не был слышен посторонним.

– Даже не думайте пытаться забальзамировать тело президента...

– Мм...

– Очень рекомендую вам не соваться не в свое дело, и поверьте мне, я знаю, что говорю: править страной предстоит мне, и никто не осмелится встать на моем пути, потому что вооруженные силы находятся исключительно в моем подчинении.

Растерянный и сбитый с толку профессор вышел из дворца в сопровождении Консуэло. Он так и не узнал, кто его вызывал, зачем и на каком основании. По дороге домой он все время бурчал себе под нос, что ни один нормальный человек никогда не поймет, что творится в голове у этих жителей тропиков, а в его положении лучше всего вернуться в родную страну, где, по крайней мере, действуют общепризнанные законы логики и здравого смысла и откуда ему вообще не следовало уезжать.

Военный министр назвался верховным правителем, не слишком хорошо представляя себе, чем ему на самом деле предстоит заниматься: всю жизнь он был в подчинении у Благотелья и даже не помнил, когда в последний раз ему приходилось самостоятельно принимать хоть какое-либо решение. В столице царила атмосфера неуверенности: народ отказывался верить в то, что президент Виталисио действительно умер; люди полагали, что траурные мероприятия – это своего рода спектакль, что старик, лежащий в роскошном, достойном фараона гробу, вовсе не Благотелья и что весь этот маскарад затеял сам диктатор, чтобы поймать с поличным своих недоброжелателей. Жители столицы позапирались в своих домах и старались без крайней необходимости не показываться на улице; дошло до того, что гвардия прошлась по жилым кварталам, вламываясь в дома и квартиры: людей буквально пинками выталкивали на улицу и гнали на центральные проспекты и площади, чтобы граждане, выстроившись бесконечной вереницей, изобразили искреннее горе и стремление отдать последние почести Отцу Нации; сам он тем временем уже начал пованивать, несмотря на то что его тело было со всех сторон обставлено свечами из первосортного натурального воска и обложено великолепными ирисами, специально доставленными самолетом из Флориды. Увидев роскошные похороны, проведенные по всем правилам самыми высокопоставленными служителями Церкви, облаченными в пышные церемониальные одежды, народ в конце концов уверовал: такая штука, как бессмертие, оказалась неподвластна даже тирану. Люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать это долгожданное событие. Страна словно проснулась после долгой сиесты, и чувство тоски и усталости, угнетавшее народ многие годы, развеялось буквально в течение каких-то нескольких часов. Люди не верили тем мыслям, на которых ловили самих себя: да как же это так, неужели они и вправду мечтают о том, что можно назвать свободой? Они кричали, танцевали, швырялись камнями, били окна и даже разграбили виллы, принадлежавшие некоторым семьям, особо обласканным прежним режимом; более того, они сожгли здоровенный черный «паккард» с президентским штандартом на крыле: именно на этой машине разъезжал Благотелья, наводя ужас на всех, кто попадался ему на пути. Впрочем, через некоторое время военный министр взял себя в руки, преодолел охватившую его растерянность, занял президентское кресло и первым же указом распорядился несколько поумерить народное ликование посредством разгона манифестаций и стрельбы по тем, кто совсем уж зарвался и перестал отличать мечты от реальности. Вслед за этим новый правитель обратился к своему народу с речью, которую транслировали по радио на всю страну. Главным мотивом этого обращения был какой-то никому неведомый «новый порядок», который следовало установить в государстве; в общем, постепенно в стране вновь воцарились мир и покой. Тюрьмы, в которых содержались политические заключенные, опустели, ибо их следовало привести в порядок и подготовить к приему нового потока узников; в том, что их окажется немало, никто в стране не сомневался.

Через какое-то время был сформирован и новый кабинет министров, не без оснований названный прогрессивным. Еще бы: это правительство пообещало ни много ни мало как превратить страну в государство двадцатого века; эта идея вовсе не была эффектным лозунгом или красивым образом. Стране действительно следовало встряхнуться и постараться догнать убегающее время, ибо в течение предыдущих тридцати с лишним лет она практически не развивалась. На этом девственном политическом пейзаже стали происходить разительные перемены: образовывались первые партии, был учрежден парламент, а в умах граждан началась эпоха возрождения – новые идеи и проекты посыпались как из рога изобилия.

В тот день, когда была похоронена любимая мумия профессора Джонса – забальзамированное тело адвоката, ставшего жертвой кровавой диктатуры, – у самого профессора случился припадок бешенства, закончившийся кровоизлиянием в мозг. По ходатайству новых властей, которые не желали каким-либо образом связывать себя с предыдущим режимом, родственники жертвы тирании согласились предать тело адвоката земле; похороны были организованы с размахом и роскошью; впрочем, многие из присутствовавших на траурной церемонии не могли избавиться от ощущения, что убитого много лет назад либерала хоронят заживо, – настолько хорошо он выглядел. Профессор Джонс приложил все усилия, чтобы его любимое детище не было погребено в своем фамильном склепе; увы, все было напрасно. В порыве отчаяния он встал в кладбищенских воротах в надежде преградить дорогу траурной процессии. Кучер, управлявший катафалком, на котором возвышался гроб из полированного красного дерева, с серебряными ручками, даже и не подумал попридержать лошадей; в общем, если бы доктор не отскочил в сторону, его просто растоптали бы без малейшего сочувствия и уважения. Когда церемония закончилась и нишу склепа закрыли мраморной плитой, великий мастер бальзамирования рухнул на землю как громом пораженный; одну половину его тела парализовало, а другая билась в конвульсиях. Вместе с адвокатом либеральных убеждений в мраморном склепе было погребено главное свидетельство того, что методика, разработанная профессором, действительно позволяла обмануть природу и препятствовала разложению тела в течение неограниченного времени.

Вот, пожалуй, и все знаменательные события, происшедшие в жизни Консуэло за годы пребывания в доме профессора Джонса. Все различия между диктатурой и демократией свелись для нее к тому, что теперь она могла сходить в кино и посмотреть какой-нибудь фильм с участием Карлоса Гарделя⁵, на которые раньше девушек не пускали; кроме того, так уж получилось, что политические перемены в стране совпали со значительным ухудшением здоровья ее хозяина. После случившегося на кладбище припадка он фактически стал инвалидом, за которым нужно было ухаживать и присматривать, как за малым ребенком. Впрочем, его привычки и образ жизни практически не менялись вплоть до того дня, когда работавшего у него садовника укусила ядовитая змея. Садовником был индеец, высокий, крепкий мужчина с мягкими чертами лица, на котором словно застыло унылое, меланхоличное выражение; за все годы совместной работы Консуэло едва ли обменялась с ним десятком фраз, несмотря на то что он частенько помогал ей при работе с трупами, раковыми больными и идиотами. Пациентов он, благодаря своей силе, перетаскивал на верхний этаж особняка, где располагалась лаборатория, настолько легко, будто это были пушинки: перекинув очередного бедолагу через плечо, он поднимался по высоким крутым ступенькам, не проявляя ни малейшего любопытства к происходящему и как будто даже не делая разницы между еще живым пациентом и трупом.

– Садовника укусила гадюка, – сообщила Консуэло профессору Джонсу.

– Когда умрет, принеси его в лабораторию, – распорядился ученый, с трудом ворочая перекошенным после перенесенного удара ртом; ему пришла в голову идея сделать из

⁵ Карлос Гардель (1887–1935) – аргентинский актер, певец, латиноамериканский «король танго».

индейца-садовника мумию индейца-садовника, подрезающего кусты; впоследствии он намеревался поставить это чучело в качестве украшения в саду.

Возраст и последствия кровоизлияния в мозг пробудили в нем художественные наклонности и образное мышление, он стал подумывать, чтобы организовать у себя в доме музей: тематическую экспозицию «Профессии» должны были представлять забальзамированные трупы людей, владевших этими самыми профессиями при жизни.

Впервые за свою молчаливую и безропотную жизнь Консуэло осмелилась послушаться приказа и поступить так, как сама считала нужным. Призвав на помощь кухарку, она перетащила индейца в свою комнату, находившуюся в сарае на заднем дворе, и уложила на тюфяк. Она была полна решимости спасти его, во-первых, потому, что ей было бы жалко видеть старого знакомого в качестве садовой скульптуры – неодушевленного украшения, созданного по капризу хозяина, явно выжившего из ума; а во-вторых, иногда она сама чувствовала какое-то необъяснимое беспокойство, наблюдая за тем, как эти большие смуглые сильные руки ласково и деликатно касаются растений, гладят их и приводят в порядок. Она промыла ранку водой с мылом, взяла на кухне нож для разделывания кур и сделала в месте укуса два довольно глубоких надреза. После этого она долго отсасывала зараженную ядом кровь, то и дело сплевывая ее в специально подставленную миску; чтобы не отравиться самой, она после каждого плевок прополаскивала рот уксусом. Потом она обернула пострадавшего вымоченными в скипидаре простынями, промыла ему желудок настоем целебных трав, залепила ранку собранной по углам паутиной и разрешила кухарке зажечь свечи у статуй святых, хотя сама не слишком верила в эффективность этого ненаучного метода лечения. Когда укушенный садовник стал мочиться кровью, Консуэло пробралась в кабинет профессора и принесла оттуда «сандаловое солнце» – незаменимое средство при всех воспалениях мочевого пузыря и мочеиспускательного канала; увы, несмотря на все ее старания, нога садовника стала гнить прямо у нее на глазах, а у него самого началась агония. Все страдания индеец переносил мужественно и с достоинством, ни разу не застонав и не пожаловавшись на боль; он даже не позволил себе хотя бы на миг потерять сознание. В какой-то момент Консуэло заметила, что мужчина усилием воли заставляет себя забыть о приближении смерти и более чем благосклонно принимает ее заботы, выражающиеся прежде всего в прикосновениях и растираниях его тела. Его энтузиазм по поводу ласковых касаний рук Консуэло выразился весьма недвусмысленным образом, и та – уже зрелая, но все еще не удосужившаяся потерять девственность – не смогла ответить умирающему мужчине отказом. Когда он слабеющей ладонью взял ее за руку и умоляюще посмотрел в глаза, она поняла, что настал тот миг, когда ей следует на деле подтвердить, что ее не зря нарекли таким именем⁶: ей выпал жребий утешить умирающего в его последние минуты. Кроме того, она вдруг подумала, что за тридцать с лишним лет жизни ей так и не довелось познать любовного наслаждения; впрочем, следовало признать, что особо настойчиво она его и не искала, пребывая в полной уверенности, что это занятие не для простых смертных, а развлекаются таким образом, пожалуй, лишь герои фильмов. В общем, она решила подарить себе это удовольствие и откровенно предложила себя умирающему, рассчитывая, что такая благосклонность с ее стороны поможет ему перейти в лучший мир если не довольным, то по крайней мере удовлетворенным.

Я так хорошо знала мать, что без труда могу представить себе в подробностях, как именно произошла эта любовная история, хотя сама мама никогда не посвящала меня в детали. Нет, она не была чрезмерно стыдливой и обычно отвечала на все мои вопросы предельно откровенно, но как только речь заходила о том индейце, она мгновенно замолкала и погружалась в воспоминания – по всей видимости, едва ли не самые приятные во всей ее жизни. Она сняла хлопчатобумажный халат, нижнюю юбку и льняное белье, затем распустила волосы, запле-

⁶ Имя Консуэло (*исп.* consuelo) означает «утешение».

тенные в косу и уложенные, по неизменному требованию хозяина, на затылке. Эти волосы – пожалуй, главный атрибут ее красоты – рассыпались по плечам, прикрывая, пусть частично, ее наготу. Она аккуратно села на умирающего, стараясь делать все так, чтобы не увеличивать его страдания. Она не слишком хорошо представляла себе, что именно ей нужно делать, по той простой причине, что в данном случае у нее не было никакого опыта. Впрочем, все то, о чем она не знала, было подсказано ей природой, инстинктом и добрыми намерениями. Под смуглой кожей мужчины заиграли напрягшиеся мускулы, и она почувствовал себя так, будто скачет на каком-то огромном и сильном животном. Неразборчиво проговаривая только что придуманные и еще до конца не понятые ею самой слова, вытирая простыней выступивший по всему телу пот, она соскользнула по его телу именно туда, куда было нужно, и стала двигаться ласково и осторожно, как любящая жена, привыкшая заниматься любовью с пожилым мужем. Затем он опрокинул ее на спину и крепко обнял – обнял со всем жаром неминуемо приближающейся смерти; в этот краткий миг их счастья вспышка света, родившаяся между их телами, казалось, разорвала в клочья все тени в самых дальних углах комнаты. Там я и была зачата – там, на смертном одре моего отца.

Тем не менее садовник не умер, к немалому удивлению и даже разочарованию профессора Джонса и ученых-французов из серпентария, которые рассчитывали заполучить труп индейца для своих исследований. Вопреки всякой научной логике он начал выздоравливать, у него упала температура, нормализовалось дыхание и наконец появился аппетит. Консуэло понимала ситуацию так: сама того не сознавая, она нашла чрезвычайно эффективное противоядие от последствий змеиных укусов. Стремясь подтвердить свою догадку, она с нежностью и готовностью отдавалась садовнику всякий раз, когда он того желал. В итоге в один прекрасный день пациент сумел самостоятельно встать на ноги. Прошло совсем немного времени, и он ушел. Она не пыталась удержать его; они постояли, взявшись за руки, минуту-другую, чуть печально поцеловались, а затем она сняла с шеи уже порядком поистершийся шнурок с висевшим на нем золотым самородком: свое единственное сокровище она отдала своему единственному возлюбленному – на память о безумной скачке во весь опор. Он ушел – благодарный и почти выздоровевший. Мама говорила, что он уходил, улыбаясь.

Консуэло не позволила себе дать волю чувствам. Она продолжала работать так, словно ничего не произошло; о том, каким образом ей удалось спасти того, кого уже записали в покойники, она не стала рассказывать никому – даже тогда, когда у нее начались приступы тошноты, головокружения, когда стали слабеть и подкашиваться ноги, когда перед глазами то и дело начинали плясать, затуманивая взгляд, разноцветные круги. Она продолжала молчать и тогда, когда у нее стал расти живот. Со временем даже профессор Джонс обратил внимание на изменение ее фигуры и прописал ей слабительное, пребывая в полной уверенности, что вздутие живота у служанки является следствием каких-то нарушений в работе пищеварительного тракта. Консуэло продолжала хранить молчание и тогда, когда подошел назначенный природой срок произвести на свет младенца. Двенадцать часов она терпела страшную боль, продолжая работать, и лишь когда терпеть эти муки стало уже невозможно, закрылась в своей комнате, готовая не просто родить ребенка, а прожить, прочувствовать все эти мгновения как самые важные в своей жизни. Она причесалась, заплела волосы в тугую косу и подвязала ее новой лентой, затем разделась, вымылась с головы до ног, положила на пол чистую простыню и села над ней на корточки – так, как она видела в книге, описывающей традиции и уклад жизни эскимосов. Вся в поту, зажав во рту скомканную тряпку, чтобы заглушить стоны, она тужилась изо всех сил, стремясь произвести на свет это крохотное создание, так упорно цеплявшееся за нее. Она была уже немолода, и роды шли трудно; к счастью, тяжелая работа: мытье полов на четвереньках, перетаскивание тяжестей вверх-вниз по лестнице и ежедневная многочасовая, порой до полуночи, стирка – все это наполнило мышцы Консуэло редкой для женщины силой. Именно они, эти мускулы, выполнив предписанную им природой работу, и помогли ей

родить ребенка. Сначала она увидела, как из ее тела показались две крохотные ножки; они чуть заметно шевельнулись, словно в нерешительности собираясь сделать первые шаги на долгом и трудном жизненном пути. Консуэло глубоко вдохнула и, в последний раз застонав, почувствовала, как в глубине ее тела что-то оборвалось и между ее бедрами проскользнуло нечто большое и уже не совсем принадлежащее ей. Свершившееся потрясло мою мать до глубины души. Да, это была я, обмотанная синей пуповиной, которую она аккуратно сняла с моей шеи, чтобы помочь мне сделать первый вздох и начать самостоятельную жизнь. В этот миг дверь комнаты Консуэло распахнулась и на пороге появилась кухарка, которая заметила долгое отсутствие моей матери и, поняв, что происходит, бросилась к ней на помощь. Она появилась в комнате Консуэло, когда самое трудное было уже позади: я лежала на животе у матери, и между нами еще не была оборвана последняя физически ощутимая связь.

– Плохо дело – девчонка, – сказала нежданная повитуха, перевязав и обрезав пуповину.

– Она родилась ножками вперед – это к счастью, – не в силах говорить громко, одними губами, на которых играла счастливая улыбка, прошептала моя мать.

– Вроде бы здоровенькая. Силенок хоть отбавляй, вон как кричит. Если хочешь, я могу быть ее крестной матерью.

– Вообще-то, я не собиралась крестить ее, – ответила Консуэло, но, увидев, как вспыхнула от возмущения кухарка, решила ее не обижать. – А впрочем, почему бы нет? Немного святой воды – что в этом плохого? В конце концов, может, это пойдет ей на пользу. Я назову ее Евой, пусть это придаст ей настоящую жажду жизни.

– А какая у нее фамилия?

– Никакой, фамилия – это ерунда.

– Ничего подобного, у каждого человека есть фамилия. Только собаки могут жить с одним лишь именем.

– Ее отец принадлежал к племени, которое называет себя детьми луны. Что ж, пусть мою дочь будут звать Ева Луна. Дай мне ее поддержать, я хочу почувствовать ее в своих руках, хочу убедиться, что она цела и здорова.

Консуэло даже не пыталась встать из лужи околоплодной жидкости, да и не смогла бы этого сделать: у нее не осталось сил и все кости в ее теле повисли, словно тряпичные; и все же, преодолевая боль и усталость, она взяла меня на руки и стала внимательно осматривать со всех сторон. Она со страхом искала на моем теле какую-нибудь отметину, какой-то болезненный знак того, что вместе с семенем отца мне передалась частица змеиного яда. Не обнаружив никаких внешних отклонений, она облегченно вздохнула.

У меня не раздвоенный язык, и на мне нет змеиной чешуи, по крайней мере снаружи. По мере того как я росла, становилось понятно, что несколько необычные обстоятельства моего зачатия дали скорее положительный эффект: получив частичку змеиного яда в свою кровь, я обрела на редкость крепкое здоровье, а также дерзость и упрямство, которые стали проявляться в моем характере с самого раннего детства и благодаря которым я все же сумела переломить судьбу и выбраться из жизни, полной унижений, казалось бы уготованной мне от рождения. Сильная кровь досталась мне, по всей видимости, в наследство от отца. Только очень сильный человек мог в течение стольких дней сопротивляться попавшему в организм смертельному яду и по ходу дела еще доставлять удовольствие ухаживавшей за ним женщине. Всем остальным в своей жизни я обязана матери. В четыре года я подхватила какую-то заразную болезнь – одну из тех, после которых все тело остается покрыто похожими на кратеры язвами. Мама спасла меня от неминуемого уродства, связав мне руки, чтобы я не чесалась. Она изо дня в день смазывала все мое тело бараньим жиром и не выпускала из темной комнаты на солнечный свет почти полгода – ровным счетом сто восемьдесят дней. Не привыкшая терять время даром, она воспользовалась моим заключением, чтобы вывести мне мелких глистов тыквен-

ным отваром, а здорового солитера – корнем папоротника. Болезнь отступила, и с тех пор я росла веселой и здоровой. На коже у меня не осталось никаких шрамов, нет на мне ни пятен, ни болячек и по сей день, если не считать следов нескольких погашенных о меня сигар. Надеюсь и до старости дожить без единой морщины, потому что благотворное воздействие бараньего жира сказывается на коже в течение многих лет.

Моя мать была человеком молчаливым, она могла слиться с узором на ковре, ее можно было не заметить среди мебели, она старалась никогда и нигде не привлекать к себе внимания, скорее наоборот, осознанно или бессознательно она делала все, чтобы окружающие забыли о ее присутствии; тем не менее, оставшись наедине со мной в нашей комнате, она просто преобладала. Рассказывала мне о своем прошлом или начинала сочинять сказки. С первыми ее словами комната наполнялась волшебным светом, стены словно раздвигались и исчезали, уступая место потрясающим пейзажам, роскошным дворцам с несметными сокровищами и дальним странам – придуманным ею или же таким, о которых она читала в книгах хозяина; мама бросала к моим ногам все богатства Востока, доставала с неба луну, уменьшала меня до размеров муравья, чтобы я еще ребенком, практически не покидавшим своей комнаты, могла почувствовать все величие и бесконечность Вселенной; она дарила мне крылья, чтобы я могла обозреть землю с небес; она наделяла меня рыбьим хвостом и плавниками, чтобы я познала морские глубины. Стоило ей заговорить, и окружающий мир наполнялся множеством взявшихся словно ниоткуда людей; многие из них стали для меня такими привычными спутниками жизни, что я и сегодня, спустя много лет, могу вспомнить, как они были одеты, могу воспроизвести интонации их голосов. Мама сохранила в целости и сохранности все воспоминания о детстве, проведенном в затерянной среди джунглей миссии, не забыла ни одну из историй о том, что происходило с людьми и целыми народами в прошлом, и, уж конечно, прекрасно помнила то, что было украдкой прочитано ею в книгах хозяина. Свои сны, мечты и воспоминания она превращала в строительный материал, из которого день за днем возводила для меня мой собственный мир. Слова – они ничьи, за них платить не нужно, говорила она. Это было то небольшое, что доставалось ей в жизни бесплатно. Пользуясь словами как своей собственностью, она без счета дарила их мне. Она сумела вложить мне в голову правильные представления об окружающей реальности: на самом деле реальность гораздо богаче, чем мы ее себе представляем, она не только то, что лежит на поверхности, что можно воспринять обычными органами чувств. У нашего мира есть еще одно – магическое – измерение, а раз так, то, если тебе хочется, ты имеешь полное право приукрасить какую-то часть этого мира, что-то в нем изменить или преувеличить, – в общем, делай что хочешь, лишь бы долгий поход по жизненному пути не был скучным. Придуманные мамой и созданные ею со всех концов воображаемого мира в ее сказки персонажи остались для меня единственными яркими и хорошо сохранившимися воспоминаниями о первых годах жизни. Все остальное стерлось, словно покрытое дымкой: в моей памяти перемешались служанки и горничные, ученый старик, восседающий на выписанном из Англии кресле с велосипедными колесами, и бесконечная череда сменяющих друг друга пациентов и трупов, которых вне зависимости от принадлежности к царству мертвых или живых доктор продолжал принимать, несмотря на обрушившуюся на него болезнь. Детей профессор Джонс не то чтобы не любил, они просто отвлекали его, не позволяя сосредоточиться на размышлениях и экспериментах. Впрочем, к тому времени, когда я научилась ходить, он уже потерял былую наблюдательность и остроту мысли и потому, натываясь на меня где-нибудь в коридоре или гостиной, не выражал по этому поводу никакого недовольства. По всей видимости, он зачастую просто не замечал меня. Я его немного побаивалась и никак не могла понять: профессор ли делает забальзамированные мумии, или же он сам – их порождение. Мне казалось, что и полуживой старик, и отжившие свое, но упорно сохраняемые в презентабельном виде мумии сделаны из одного и того же куска пергамента; и все же присутствие старика в доме не омрачало мою жизнь и не слишком ограничивало мою свободу. В

конце концов, мы существовали в разных пространствах: моей территорией были внутренние дворики, кухня, кладовые, комнаты прислуги и сад; когда же мне приходилось сопровождать маму в парадную часть дома, я старалась производить как можно меньше шума и по возможности не мозолить глаза профессору. Полагаю, по большей части он просто принимал меня за продолжение тени моей матери. Каждое помещение в этом огромном доме пахло по-своему, и я бы, наверное, смогла сориентироваться в особняке по запаху даже в полной темноте или с закрытыми глазами; запахи еды, одежды, угля, лекарств, книг и сырости – все это смешивалось с миром персонажей маминых сказок, делая мое детство насыщенным и разнообразным.

Меня воспитывали в соответствии с теорией, согласно которой досуг и отдых являются причиной того, что человек начинает предаваться всем возможным порокам: эту идею маме внушили в монастыре Сестер Милосердия, а дальнейшее подкрепление она нашла у доктора, установившего в доме деспотическую дисциплину. Игрушек в обычном понимании этого слова у меня не было. На самом же деле все, что окружало меня в этом доме, я использовала для игр по своему усмотрению. Свободного времени в течение дня у меня тоже не было, сидеть сложа руки хотя бы какое-то время считалось у нас в доме постыдным. Я вместе с мамой драила дощатые полы, развешивала выстиранное белье на просушку, собирала в огороде зелень и овощи, а в час сиесты пыталась шить и вышивать. При этом я не помню, чтобы все эти заботы казались мне чем-то утомительным и уж тем более невыносимым. Для меня это было вроде игры в кукольный домик, с той лишь разницей, что дом у меня был большой и самый настоящий, а не игрушечный. Мрачноватые научные эксперименты меня также не слишком беспокоили: мама сумела втолковать мне, что битье пациента дубиной по голове и выставление человека на съедение комарам (к счастью, все это бывало не так уж и часто) являются не свидетельствами жестокости и безумия хозяина, а, напротив, представляют собой новейшие, особо эффективные методы лечения, разработанные на основе последних строго научных исследований. С мумиями она обращалась спокойно, уверенно и даже как-то заботливо и приветливо, словно те приходились ей кем-то вроде дальних родственников, неожиданно нагрянувших в гости; таким отношением к забальзамированным трупам мама на корню пресекла все мои невольные попытки находить в необычном соседстве нечто страшное; кроме того, она постоянно следила, чтобы другие слуги и рабочие не пугали меня и не вели при мне разговоров на похоронно-загробные темы. Наверняка она следила и за тем, чтобы я держалась подальше от лаборатории... если вспомнить, то я действительно практически и не видела эти несчастные мумии: я просто знала, что они находятся где-то там, по ту сторону двери. Понимаешь, Ева, они ведь такие хрупкие и беззащитные, ты лучше не входи в ту комнату, а то заденешь что-нибудь, пусть даже случайно, и профессор страшно разозлится, говорила она мне. Чтобы еще больше успокоить меня, она придумала каждой мумии имя и со временем превратила всех их в сказочные персонажи, населявшие наш с нею мир. Они были для меня кем-то вроде домашних или волшебников.

На улицу мы с мамой выходили не часто. Один из таких редких выходов мне запомнился особенно хорошо: вся прислуга, работавшая в особняке, решила принять участие в организованной епископом процессии и коллективной молитве о ниспослании дождя. В тот день молиться и участвовать в процессии были готовы даже атеисты, это было не столько религиозным действием, сколько общественно значимым событием, объединившим весь народ. К тому времени, как говорят, страшная засуха продолжалась уже три года, ни единой капли дождя не упало с неба на пересохшую, растрескавшуюся землю. Гибли растения, умирали, уткнувшись мордами в сухую пыль, животные, по всем дорогам, ведущим из равнинной части страны к побережью, брели люди, готовые продать себя в рабство в обмен на воду. Перед лицом катастрофы общенационального масштаба епископ постановил вынести из собора статую Иисуса Назарянина и обойти с ней город, вознося к Небесам молитву о смягчении ниспосланной стране кары; это была последняя надежда, и в процессии приняли участие бедные и богатые,

молодые и старые, верующие и атеисты. Варвары! Дикари! Невежественные индейцы, дремучие негры! – в ярости восклицал профессор Джонс, узнав, куда мы собираемся; впрочем, даже его авторитета не хватило, чтобы воспрепятствовать прислуге участвовать в общей процессии. Огромная толпа людей в самых лучших своих одеждах двинулась вслед за статуей Назарянина от соборной площади по главному проспекту города; против ожидания мероприятие завершилось гораздо быстрее намеченного: не успела колонна дойти до здания, где размещался офис водопроводной компании, ответственной за снабжение населения питьевой водой, как небеса разверзлись и на город обрушился ливень невиданной силы. Не прошло и двух суток, как город был затоплен и превратился в подобие озера; никакая канализация, никакие сточные канавы не могли справиться с такими потоками воды; под водой скрылись дороги, дома подтапливались один за другим; за городом вышедшие из берегов реки сносили крестьянские хижины и даже усадьбы, а в одном прибрежном поселке с неба на землю вместе с дождем обрушились тысячи морских рыб. Чудо, это же чудо! – не переставая восклицал епископ. Наш многоголовый хор вторил ему. Ну конечно, мы, в отличие от профессора Джонса, не знали, что процессия была назначена на тот день, когда метеорологическая служба твердо пообещала тайфуны и проливные дожди над всем Карибским регионом. Полупарализованный профессор тщетно взывал к нашему разуму из своей инвалидной коляски. Безграмотные невежды! Неучи! Рабы суеверий! – уже по инерции продолжал повторять почтенный доктор. Свершившееся чудо сделало то, чего не могли добиться ни братья-миссионеры, ни сестры-монахини: моя мать приняла Бога, почувствовала свою близость с Ним; случившееся помогло ей образно представить Его сидящим на небесном троне и негромко, чуть снисходительно посмеивающимся над человечеством. Она поняла, что на самом деле Бог очень отличается от того кроткого и даже робкого дедушки, которым Его обычно изображают в религиозных книгах. Продемонстрировав людям, что у Него есть чувство юмора, Бог заодно дал им понять: пытаться наперед предугадать, что Он задумал, высчитать каким-то образом, что входит в Его планы, – занятие бессмысленное и бесполезное. Всякий раз, вспоминая тот пролившийся на нас чудесным образом ливень, мы просто умирали от смеха.

Мой мир был ограничен решеткой вокруг сада. Там, внутри, время текло по своим, порой весьма капризным законам; за полчаса я могла совершить с полдюжины кругосветных путешествий, обойдя вокруг моего собственного земного шара; в то же время отблеск лунного света на плитах внутреннего дворика мог дать мне пищу для размышлений на целую неделю. Свет и темнота – вот что определяло основные перемены в природе вещей моего мира; книги, тихие и неподвижные в течение дня, с наступлением ночи оживали и открывались, их герои сходили со страниц, бродили по комнатам и проживали жизнь, полную приключений; мумии, такие жалкие, беспомощные и робкие в часы, когда солнце наполняло дом ярким светом, с наступлением сумерек обретали силу и прочность камня, а в ночной темноте еще и превращались в настоящих великанов. В том мире пространство растягивалось и сжималось по моей прихоти; крохотный чулан под лестницей мог вместить в себя целую Солнечную систему, а огромное небо, если смотреть на него из слухового окна на чердаке, съеживалось до размеров бледного кружочка. Одного моего слова было достаточно, чтобы преобразить внешний мир до неузнаваемости.

Так я и росла в доме у подножия холма – свободная и уверенная в себе. Я практически не общалась с другими детьми, да и с посторонними взрослыми не часто встречалась: гости в доме почти не бывали, если не считать одного человека, неизменно одетого в черный костюм и черную же шляпу. Это был протестантский проповедник, приносивший с собой Библию, с помощью которой ему удалось изрядно подпортить профессору Джонсу последние годы жизни. Этого человека я боялась куда больше, чем хозяина.

Глава вторая

За восемь лет до моего рождения, в тот самый день, когда в своей постели тихо, как скромный, незаметный и безвредный старичок, ушел из жизни Благодетель нашего Отечества, в одной деревушке на севере Австрии появился на свет мальчик, которого называли Рольфом. Он был младшим сыном Лукаса Карлэ, школьного учителя, наводившего ужас на своих учеников. В те времена телесные наказания представляли собой неотъемлемую часть образовательного процесса: мол, без розги и учеба не учеба. Эта народная мудрость, ставшая краеугольным камнем педагогической теории, настолько крепко засела в мозгах у людей, что никому из здравомыслящих родителей и в голову бы не пришло оспаривать целесообразность подобных воспитательных мер. Тем не менее, когда учитель Карлэ сломал пальцы одному мальчику, дирекция школы запретила ему использовать для наказания нерадивых учеников тяжелую линейку: всем было ясно, что буквально с первого удара Карлэ впадал в экстаз и продолжал колотить, уже не отдавая себе отчета в своих действиях и их возможных последствиях. Желая отомстить учителю, школьники изводили его старшего сына Йохена: если им удавалось поймать его где-нибудь в укромном месте, то на него обрушивался целый град ударов и пинков. Так он и рос, привычно убегая от сверстников, при первой возможности отрекаясь от своей фамилии, – тихий и незаметный, как стелющаяся по земле былинка.

Дома у Лукаса Карлэ царил такой же страх, как и на его уроках в школе. С женой его связывали лишь узы сожителства: о любви в этом браке не могло быть и речи. Самое любовь он считал понятием, применимым в разговорах о музыке или литературе, но не имеющим никакого отношения к повседневной жизни. Они поженились почти сразу же после знакомства; узнать друг друга получше у жениха и невесты не было времени. Молодая жена возненавидела мужа после первой же брачной ночи. Для самого Лукаса Карлэ супруга была существом низшего порядка, тварью, стоящей куда ближе к животным, чем к единственному разумному существу в этом мире – мужчине. Теоретически он должен был бы испытывать к этой женщине смешанное чувство презрения и сострадания, но на практике все вышло иначе: жена бесила его и выводила из себя одним своим присутствием. Он появился в этой деревне когда-то давно, измученный долгой дорогой. Первая мировая война лишила его не только родины, но и всяких средств к существованию. В кармане у него лежал диплом учителя и деньги – сумма, на которую можно было прожить примерно неделю. Первым делом он нашел себе работу, а вторым – жену. В своем выборе он опирался на два довода: во-первых, ему понравилось выражение страха, которое он вскоре после знакомства стал замечать в глазах жены, а во-вторых, он оценил по достоинству ее широкие бедра. Он был уверен, что такая особенность фигуры – необходимое условие, чтобы зачать, выносить и родить ему наследников (непременно мужского пола), а также выполнять всю самую тяжелую работу по дому. Также на его решение повлияли два гектара земли, полдюжины голов скота и скромная рента, которую девушка унаследовала от отца. Все это перешло после свадьбы в собственность мужа – полноправного распорядителя всего имущества супругов.

Лукасу Карлэ нравились женские туфли на высоких каблуках, в особенности из красной лакированной кожи. Наезжая время от времени в ближайший город, он всякий раз снимал проститутку и платил ей за то, чтобы она ходила перед ним по комнате голой, но обязательно в красных, страшно неудобных из-за высоких каблуков туфлях. Сам он в это время восседал на стуле, полностью одетый, включая пальто и шляпу. Напуская на себя серьезный вид, он на самом деле испытывал неописуемый восторг от возможности созерцать это восхитительное зрелище: женские ягодички – как можно более пышные, белые, с ямочками, – которые перекачиваются из стороны в сторону при каждом шаге. Разумеется, ни с одной из этих женщин он не спал и даже не прикасался к ним – строгое соблюдение правил гигиены было его идеей фикс. В

средствах он был сильно ограничен и поэтому не мог позволить себе это развлечение так часто, как ему бы хотелось. Хорошенько подумав, он купил французские туфли ярко-красного цвета и спрятал коробку в самом дальнем углу платяного шкафа. С тех пор он время от времени запирает детей в другой комнате, заводил патефон на полную громкость и звал жену. Та уже успела научиться предугадывать изменения в настроениях мужа и понимала, что настал час жертвоприношения, еще до того, как Лукас сам осознавал, что с ним происходит. От ужаса ее бросало в дрожь, посуда выскальзывала из рук и с грохотом разбивалась об пол.

Карле не выносил никакого шума в доме, поскольку, по его мнению, достаточно шума он терпел в школе. Его дети научились не смеяться и не плакать в присутствии отца. По дому они передвигались совершенно беззвучно, словно тени, и говорили только шепотом. В своем старании быть незаметными они приобрели такую сноровку, что матери порой казалось, будто она может видеть прямо сквозь них. С затаенным ужасом в душе она вновь и вновь задумывалась о том, не станут ли они со временем на самом деле прозрачными, словно призраки. Господин учитель пребывал в уверенности, что законы генетики сыграли с ним злую шутку. Дети совершенно ему не удались. Йохен был медлительный, неловкий и неуклюжий, учился посредственно, часто засыпал прямо на уроках, писался в кровать и вообще никак не соответствовал тем надеждам, которые возлагал на него отец. О Катарине отец предпочитал вообще не упоминать и не вспоминать. Девочка была недоразвитой. Он был уверен лишь в одном: в его семье за много поколений таких вырожденков не было, следовательно, он мог не считать себя виноватым в том, что его дочь родилась неполноценной. Да и кто знает, его ли она вообще дочь. Он не дал бы руку на отсечение, чтобы поручиться за чью-либо верность, а уж тем более за верность собственной жены. К счастью, Катарина родилась неполноценной не только психически, но и физически. Врач сказал, что у нее в сердце какая-то дырочка и долго этот ребенок не проживет. Ну так оно и к лучшему.

Учитывая столь скромные успехи во всем, что касалось двоих старших детей, Лукас Карле не пришел в восторг, узнав, что его жена беременна в третий раз. Но когда на свет родился крупный розовый сероглазый мальчик с крепкими ручками и ножками, его отец почувствовал себя вознагражденным. Наконец-то у него появился наследник, о котором он всегда мечтал, достойный носить гордое имя Карле. Ребенка следовало немедленно оградить от дурного влияния матери. Ничто так легко и бесповоротно не губит хорошую мужскую наследственность, как женское сюсюканье. Не вздумай кутать его в шерстяную одежду, пусть закаляется; оставляй его надолго в темноте, пусть привыкает не бояться; не таскай его на руках, пусть кричит и плачет хоть до посинения – только легкие здоровее будут, – такие приказы отдавал Лукас своей супруге. Та при муже выполняла все его указания, но у него за спиной надевала на ребенка самую теплую одежду, кормила его как можно чаще, баюкала на руках и пела колыбельные. Такая жизнь – то в тепле, то в холоде, то со шлепками и оплеухами, то в безбрежной любви и баловстве, то с ночевками в темном шкафу, то с поцелуями в знак утешения – рано или поздно свела бы с ума кого угодно. И все же Рольфу Карле повезло. Его психика оказалась крепче, чем у сестры, и он сумел выдержать то, что могло бы погубить любого другого. Кроме того, и это оказалось еще важнее, через несколько лет после его рождения началась Вторая мировая война и отец записался в армию, избавив тем самым жену и детей от своего присутствия. Война оказалась самым счастливым временем в детстве Рольфа.

Пока в Южной Америке, в доме профессора Джонса, накапливались забальзамированные мумии, а укушенный ядовитой змеей мужчина отдавал свое семя женщине, которая родила девочку и назвала Евой, чтобы это имя помогло ей обрести волю к жизни, в Европе далеко не все шло привычным чередом. Из-за войны весь окружающий мир наполнился страхом и пришел в смятение. Когда девочка училась ходить, держась за подол маминой юбки, по другую сторону Атлантики, на лежащем в руинах континенте, подписывались мирные договоры. На

этом берегу океана мало кто терял сон и покой из-за насилия, творившегося в такой дальней дали. Большинству хватало и того насилия, которое окружало их каждый день.

Подросший Рольф Карле был мальчиком наблюдательным, гордым и настойчивым, но при этом в нем стала проявляться и некоторая склонность к романтике, что приводило его самого в смущение, а в глазах других мальчишек было признаком слабости. В те времена, насквозь пронизанные войной, он вместе с другими ребятами играл в заброшенных окопах и сбитых самолетах, но в глубине души его гораздо больше трогали распустившиеся весной почки, летние цветы, золото осени и печальное белое покрывало, которое раскидывает над землей наступающая зима. В любое время года он при первой возможности уходил в лес, где подолгу гулял, собирая листья и насекомых, которых потом внимательно разглядывал под увеличительным стеклом. Страницу за страницей он вырывал из школьных тетрадей, чтобы писать на них стихи. Затем прятал листочки в дуплах деревьев или под придорожными камнями, втайне даже от самого себя надеясь, что кто-нибудь их рано или поздно найдет. Об этом он никогда никому не рассказывал.

Мальчику было десять лет, когда однажды его повели копать могилы. В тот день у него было отличное настроение: его старший брат Йохен сумел поймать в силки зайца, и теперь по всему дому распространялся бесподобный аромат тушеного мяса, вымоченного в уксусе и приправленного розмарином. Рольф уже почти забыл этот запах – так давно в их доме не готовили ничего мясного. Предвкушая удовольствие от ужина, он беспокойно ходил по дому, и лишь вколоченное с младенчества послушание не позволяло ему тайком приоткрыть крышку кастрюли и опустить ложку в соус. А еще в тот день мать пекла хлеб. Ему нравилось смотреть, как она стоит, наклонившись над столом и запустив руки по локоть в тесто. Казалось, все ее тело, когда она месила густую вязкую массу, двигается вслед за руками. Хорошенько вымесив тесто и дав ему подняться, мать раскатывала его и сворачивала в длинные колбаски, которые затем резала на равные куски: из них и выпекались маленькие круглые хлебцы. Раньше, в мирные времена, она оставляла немного теста в отдельной миске, добавляла в него молоко, яйца, корицу и пекла сладкие шарики. Это лакомство она складывала в большую жестяную банку и выдавала каждому из детей по одному шарiku в день – до следующей недели, когда все повторялось заново. Но сейчас ей приходилось добавлять в муку отруби, и хлеб получался темный и кислый, вроде того, что пекут с древесной мукой.

То утро началось с шума и суматохи на улице – через деревню отряд за отрядом проходили оккупационные войска. Раздавались громкие голоса командиров, но никто из местных жителей особо не обеспокоился: свою меру страха, потерпев поражение в войне, они уже почти исчерпали, и теперь этого чувства у них едва ли хватило бы, чтобы всерьез озаботиться из-за какого-либо дурного предзнаменования. После заключения мира в деревне обосновались русские солдаты. Слухи об их жестокости бежали впереди наступающей Красной армии и предвещали настоящую кровавую баню. Они ведь хуже зверей, говорили люди, они вспарывают животы беременным женщинам и швыряют нерожденных младенцев голодным собакам. Всех стариков без разбору они закалывают штыками, а мужчинам вставляют в зад динамит и смотрят, как человека разрывает на куски. Эти исчадия ада разрушают и жгут дома, убивают, насилюют. Вопреки ожиданиям все пошло не так – гораздо более мирно и спокойно. Деревенский староста подыскал этому подходящее объяснение. С его слов выходило, что их деревне сказочно повезло: русские солдаты, пришедшие сюда, были с самых дальних окраин своей страны, наименее затронутых войной, и поэтому у них накопилось меньше злобы и ненависти, а желание отомстить побежденному противнику не было столь всепожирающим. В деревню вошел отряд с грузовиками и какой-то тяжелой техникой, которую везли огромные тягачи. Командовал солдатами молодой офицер с азиатскими чертами лица. Русские реквизировали продовольствие и прошли по домам, собирая в свои вещмешки все ценные вещи, которые жители

не успели хорошенько припрятать. Выбранные фактически наугад шестеро мужчин были обвинены в пособничестве немцам и расстреляны на месте. После этого русские разбили лагерь по соседству с деревней и на этом успокоились. В тот день в громкоговорители объявили, чтобы жители деревни собрались на центральной площади. Вслед за тем по домам прошли солдаты, угрозы которых вполне убедительно действовали на тех, кто сомневался: стоит ли выполнять это распоряжение. Мать поспешно надела на Катарину теплую жилетку и вышла из дому, боясь, что солдаты вполне могут забрать у них и тушеную зайчатину, и выпеченный на всю неделю хлеб. Вместе с тремя детьми – Йохеном, Катариной и Рольфом – она направилась на площадь. Их деревня за время войны пострадала меньше, чем многие другие. Полностью разрушено было только здание школы. В один воскресный вечер в него попала бомба, и обломки парт и грифельных досок разметало чуть не по всей деревне. Часть средневековой каменной мостовой на площади была разобрана: отряды сопротивления использовали булыжники для баррикад. Во власти победившего противника оказались часы со здания ратуши, церковный орган и вино последнего урожая – все то, что, собственно говоря, и представляло хоть какую-то ценность в деревне. Фасады домов никто давно не красил, и кое-где на них виднелись следы от пуль. Впрочем, все это не могло разрушить очарования, которое старинные здания обрели за долгие века своего существования.

Подгоняемые солдатами, жители деревни собрались на площади; советский комендант, в изношенной, потрепанной форме, рваных сапогах и с недельной бородой, прошелся вдоль подвоя строя, образованного насмерть перепуганными людьми, внимательно рассматривая каждого в упор. Никто не смог выдержать этого взгляда: люди опускали глаза, вжимали голову в плечи и готовились к худшему; лишь Катарина бесстрашно встретила взгляд чужеземного офицера и, думая о чем-то своем, стала преспокойно ковырять в носу.

- Она что, слабоумная? – спросил офицер, показывая пальцем на девочку.
- Да, от рождения, – тихо ответила госпожа Карле.
- Тогда нет смысла тащить ее с собой. Оставьте ее здесь.
- Ее нельзя оставлять одну. Прошу вас, позвольте ей пойти с нами.
- Как хотите.

Так они простояли на площади под еще нежарким, к счастью, весенним солнцем два часа; отойти куда-нибудь в сторону было невозможно – со всех сторон было выставлено оцепление. Старики опирались на молодых и наиболее сильных, дети ложились спать прямо на землю, самых маленьких отцы держали на руках; наконец прозвучала команда строиться в колонну и отправляться в путь. Процессию возглавлял джип коменданта, а с флангов и тыла жителей конвоировали и подгоняли солдаты; в первой шеренге шли деревенский староста и директор школы – последние представители власти, чей авторитет еще хоть как-то признавался в хаосе обрушившегося на деревню кошмара. Люди шли молча и лишь иногда беспокойно оглядывались на крыши родных домов, возвышающиеся над холмами; каждый про себя задавался одним и тем же вопросом: куда ведут? Наконец всем стало ясно, что колонну конвоируют к лагерю для военнопленных. Сердца жителей деревни сжались.

Рольф отлично знал эту дорогу: не раз и не два уходил он вместе с Йохеном в эту сторону, чтобы ловить змей, ставить капканы на лис или же собирать хворост. Иногда братья доходили почти до самого лагеря; они прятались в тех местах, где можно было ближе всего подобраться к ограде из колючей проволоки. Что делалось в самом лагере, на расстоянии видно было плохо, и мальчишки лишь слышали вой сирен да время от времени ощущали какой-то неприятный запах. Когда ветер дул со стороны лагеря военнопленных, такой же запах ощущался даже в деревне; никто ни о чем не спрашивал, никто не заговаривал на эту тему: все делали вид, будто ничего не чувствуют. И вот теперь Рольф Карле, как и другие жители деревни, впервые оказался за тяжелыми металлическими воротами; мальчик тотчас же обратил внимание, насколько земля под ногами на территории концлагеря отличается от земли тех полей, которые

его окружали: здесь, за оградой, не видно было ни единой травинки и почва казалась пересохшей и бесплодной, как в пустыне. Он очень удивился такой перемене в ландшафте, потому что все окрестные холмы давно уже были покрыты зеленым ковром свежей травы. Колонна прошла по длинной дорожке, пересекла несколько разделительных линий, отмеченных мотками колючей проволоки, миновала ряд наблюдательных вышек и пулеметных гнезд и наконец оказалась в большом квадратном дворе. С одной стороны его ограничивали мрачные бараки без окон, а с другой – возвышалось какое-то сооружение с несколькими дымовыми трубами. Чуть поодаль виднелись уборные и несколько виселиц. Весна, по всей видимости, не смогла проникнуть за ворота лагеря: здесь все было серо, словно подернуто густым туманом – туманом зимы, оставшейся тут навеки. Жители деревни подошли к баракам и инстинктивно сбились в плотную толпу; касаясь соседей локтями и плечами, они словно пытались поддержать друг друга в минуту этого зловещего напряжения; особенно сильно давила на психику стоявшая в лагере грубовая тишина. Даже небо и то казалось отсюда грязно-серым, словно покрытым слоем пепла. Послышалась команда офицера, и солдаты погнали деревенских жителей к главному зданию; их гнали, как стадо скота, поторапливая замешкавшихся уколами штыков и ударами прикладов. Вот тогда они их и увидели. Тех, которые были там. Они лежали грудami на полу один на другом. Их было много десятков: истерзанные, многие частично расчлененные – целые горы того, что отдаленно напоминало какие-то чудовищные бревна и жерди. Поначалу никто не поверил, что это действительно человеческие тела; увиденное показалось невольным зрителям грудой марионеток, выброшенных из какого-то зловещего кукольного театра; подталкиваемые со всех сторон прикладами, люди приблизились к распахнутым воротам барака и не только увидели в деталях эту кошмарную картину, но и почувствовали ударивший им в ноздри в полную силу уже знакомый запах. Это зрелище, тишина и чудовищный смрад навеки впечатались в память всех тех, кто оказался в тот день во дворе концлагеря. В оглушительной тишине каждый услышал, как бьется его собственное сердце. Никто не произнес ни слова, да и о чем в тот миг можно было говорить. Долго стояли они так – молча и неподвижно; наконец комендант взял лопату и протянул ее старосте. Солдаты раздали лопаты другим жителям деревни.

– Начинайте копать, – тихо, почти шепотом приказал русский офицер.

Катарину вместе с маленькими детьми отослали подалее: им велели сидеть у основания одной из виселиц, никуда не уходить и ждать, пока взрослые закончат работу. Рольф оказался рядом с Йохеном. Земля была твердая, и копать было тяжело, мелкие камешки и песок впились в пальцы и попадали под ногти, но Рольф ни на миг не прервал работу; согнувшись и вжав голову в плечи, глядя себе под ноги из-под спадавших на лицо волос, он копал и копал, сгорая от стыда, который так никогда и не смог забыть, который преследовал его всю жизнь, как бесконечно повторяющийся кошмарный сон. Он ни разу не поднял голову и не посмотрел по сторонам. Он даже не слышал раздававшихся вокруг звуков – ни ударов лопат о камни, ни сбивчивого и хриплого дыхания усталых людей, ни плача и всхлипываний женщин.

К тому времени, когда могилы были выкопаны, наступила ночь. Рольф заметил, что на наблюдательных вышках зажглись прожекторы, и ночь мгновенно наполнилась ярким неживым светом. Русский офицер приказал работавшим выстроиться в колонну по двое и перенести трупы в могилы. Мальчик вытер натруженные руки о штаны, стер пот со лба и вместе с Йохеном шагнул вслед за взрослыми. Увидев это, их мать хрипло закричала, желая остановить сыновей, но оба уже вошли в барак вместе с остальными; когда настала их очередь, они наклонились над кучей трупов и подняли одно из мертвых тел, взяв его за запястья и лодыжки. Их ноша мало напоминала человеческое тело в привычном понимании: фактически это был скелет, обтянутый кожей, без одежды, наголо бритый, сухой и холодный, словно фарфоровая кукла. Будто связанные своей ношей, братья пошли в сторону вырытой на лагерном плацу могилы. Голова трупа была запрокинута, а сам он едва заметно раскачивался в их руках. Рольф обернулся,

чтобы посмотреть на мать, и увидел ее согнувшейся пополам от приступа тошноты; он был бы рад как-нибудь успокоить и утешить ее, пусть хотя бы жестом, но его руки были заняты.

Работа по захоронению узников концлагеря закончилась далеко за полночь. Вырытые могилы были заполнены почти до самых краев, сверху их засыпали землей, но час возвращения домой еще не настал. Сначала солдаты заставили жителей деревни пройти по баракам, побывать в камере смертников, осмотреть печи крематория и прошагать под виселицами. Никто из тех, кому выпало хоронить пленников, не осмелился прочесть над могилами хотя бы краткую молитву. В глубине души каждый понимал, что с этого дня все они вместе и каждый в отдельности будут пытаться забыть увиденное, стараться подавить в душе пережитый ужас, вырвать его из своего сердца; все заранее согласились никогда не говорить о том, что им довелось пережить в этот день и что они видели в этом жутком месте. Каждый лелеял надежду, что время поможет стереть чудовищные воспоминания из памяти, и каждый ясно понимал, сколь тщетна эта надежда. Наконец они отправились в обратный путь; измученные духовно и физически, они шли медленно, едва передвигая ноги. Последним шел Рольф Карле, которому казалось, что он идет по дороге в строю скелетов, абсолютно одинаковых перед лицом отчаяния и смертной тоски.

Неделю спустя домой вернулся Лукас Карле, которого Рольф даже не узнал; впрочем, в этом не было ничего удивительного: когда отец уходил на фронт, его младший сын был еще слишком мал и не умел пользоваться разумом и памятью по своей воле. Кроме того, человек, который в тот вечер неожиданно ввалился в их кухню, совершенно не походил на того мужчину, чья фотография висела над камином. За годы отсутствия отца Рольф создал для себя его героический образ: в представлении мальчика отец носил красивую форму летчика, а на груди у него в несколько рядов сверкали полученные за воинскую доблесть награды; он был гордым и непременно носил сапоги, начищенные до такого блеска, что ребенок мог смотреться в них, как в зеркало. Так вот: этот образ не имел никакого отношения к человеку, внезапно ворвавшемуся в его жизнь; Рольф даже не поздоровался с незнакомцем, посчитав, что это какой-то нищий пришел просить подаяние. У человека на фотографии были роскошные ухоженные усы, а глаза – серые, как зимние тучи, – горели холодным, властным огнем. Тот же, кто вдруг вломился к ним на кухню, был одет в непомерно большие, подвязанные веревкой солдатские штаны и потертый, кое-где порванный френч; на шее у него был повязан грязный платок, а ноги обуты вовсе не в начищенные до зеркального блеска сапоги, а в какие-то самодельные опорки. Роста он был невысокого, плохо побрит, а его волосы, выстриженные клочьями, торчали на голове непослушным ежиком. Нет, этого человека Рольф отказывался узнавать. Но остальные члены семьи отреагировали на его появление именно так, как и полагается встретить вернувшегося с войны отца и мужа. Мать зажала рот обеими руками, Йохен вскочил из-за стола и, сделав непроизвольно шаг назад, опрокинул свой стул, а Катарина мгновенно сползла со стула и спряталась под стол, чего не делала уже долгое время: по всей видимости, страх пробудил в ней давние, уже почти забытые рефлексy.

Лукас Карле вернулся к родному очагу совсем не потому, что соскучился по жене и детям: по правде говоря, он никогда не был особенно привязан ни к родным, ни к этой деревне, как, впрочем, и ни к какому другому месту; в глубине души он считал себя вечным волком-одиночкой без роду без племени. Причина возвращения крылась в другом: его загнали домой усталость и голод, он решил, что лучше уж рискнуть попасться в лапы ненавистному победившему противнику, чем медленно умирать от голода, пробираясь неизвестно куда по полям и лесам. Ни о каком сопротивлении он уже и не думал. Дезертировав из своей части, он был вынужден днем прятаться где-нибудь в укромных местах, а передвигаться только по ночам. Он раздобыл себе документы какого-то погибшего солдата и намеревался выдавать себя за другого человека, сменив фамилию и имя и зачеркнув таким образом свое весьма неприглядное про-

шное. Впрочем, спустя несколько дней и ночей, проведенных под открытым небом, он пришел к выводу, что на всем этом огромном, перепаханном войной континенте ему равным счетом некуда податься. Воспоминания о деревне – о миленьких и опрятных домиках с огородами и виноградниками, о школе, где он проработал столько лет, – не очень-то его и радовали, возвращение домой не было пределом его мечтаний, но у него не оставалось выбора. За время войны он успел заработать несколько нашивок и даже кое-какие награды; все эти знаки отличия он получил вовсе не за героизм, а за охотно проявляемую им при любом удобном случае садистскую жестокость. Да, война сделала из него другого человека: у бывшего школьного учителя наконец появилась возможность понять себя по-настоящему, опустившись в самую глубину своей черной, похожей на коварное топкое болото души. Теперь он знал, на что действительно способен. И вот, после того как он познал грань между допустимым и запретным, после того как много раз переходил эту грань, переставшую быть для него преградой, ему предстояла жалкая участь – возвращаться в мир прошлого и, смирившись с личным поражением, вновь учить уму-разуму каких-то плохо воспитанных деревенских молокососов. Для себя он давно решил, что человек, а тем более настоящий мужчина создан для войны; вся история человечества свидетельствовала о том, что невозможно добиться прогресса без насилия. Терпите, стисните зубы и терпите; если страшно, то можно закрыть глаза, но идти нужно только вперед, в атаку, ведь мы же солдаты. Увиденные за время войны и даже выпавшие на его собственную долю страдания не смогли пробудить в нем ни малейшей тяги к мирной жизни, но, наоборот, еще больше укрепили его уверенность в том, что лишь кровь и порох могут выявить среди серой массы тех немногих, кто поведет уже тонущий корабль человечества в безопасную гавань; да, конечно, на этом пути придется избавиться судно от лишнего балласта; в первую очередь надо расправиться со слабыми и с теми, от кого нет непосредственной пользы, и сделать это нужно без сожаления, в полном соответствии с непреложными законами природы.

– Ну что, в чем дело? Не рады меня видеть? – спросил он, закрывая за собой дверь.

За время отсутствия он не разучился наводить ужас на свою семью. Йохен попытался было что-то сказать, но слова застряли у него в горле, и ему удалось лишь издать какой-то нечленораздельный гортанный звук. При этом он подсознательно встал между отцом и младшим братом, словно желая защитить того от какой-то неведомой опасности. Госпожа Карле, действуя так же машинально, шагнула к сундуку, вынула из него большую белую скатерть и накрыла ею стол. Лишь позже она поняла, что сделала это, чтобы отец не увидел Катарину и хотя бы какое-то время не вспоминал о ее существовании. Одного взгляда хватило Лукасу Карле, чтобы вновь обрести власть над домом и подчинить себе всю семью. Жену он нашел столь же тупой, как и раньше, но, к своему удовлетворению, обнаружил, что в ее глазах застыл прежний неизбывный страх, а нижняя часть ее тела по-прежнему сохраняет соблазнительную форму и упругость. За то время, что его не было дома, Йохен успел превратиться в высокого парня, причем отца удивило не столько то, как сильно он вырос, сколько то, что сыну каким-то образом удалось избежать мобилизации или зачисления в отряды гитлерюгенда. Рольфа он практически не знал, но ему хватило буквально секунды, чтобы понять, что этого мальчишку воспитывали, пряча от жизни в складках маминой юбки. Им нужно было срочно заняться – для начала хотя бы добиться, чтобы он не выглядел изнеженным котенком, а походил на подрастающего мужчину. Ну что ж, этим он, пожалуй, и займется – из хлюпика вырастит мужчину.

– Йохен, быстро нагрей воды, мне надо помыться. Есть в доме что-нибудь пожрать? А ты, значит, Рольф... Подойди ко мне и пожми отцу руку. Эй, оглох, что ли? А ну, быстро сюда!

С того вечера жизнь Рольфа круто изменилась. Несмотря на все лишения военного времени, выпавшие на его долю, он вплоть до того дня практически не знал, что такое страх. Лукасу Карле мгновенно удалось научить сына бояться. Долгое время мальчик не мог спать спокойно, вплоть до того дня, пока его отца не нашли в лесу повешенным.

Стоявшие рядом с деревней русские солдаты были простыми, даже неотесанными парнями – бедными и сентиментальными. По вечерам они садились вокруг костра, чистили оружие и подолгу пели; песни звучали одна за другой, и порой, когда кто-нибудь из солдат пел на своем языке, на глаза его земляков наворачивались ностальгические слезы. Иногда солдаты напивались и ссорились между собой, а порой устраивали пляски до упаду. Местные жители старались как можно реже попадаться им на глаза, но некоторые девушки по вечерам тайком пробирались к лагерю русских и предлагали себя в обмен на еду. Они отдавались солдатам молча, стараясь не глядеть им в лицо. Голодными они домой не уходили, несмотря на то что победители питались ничуть не лучше, чем побежденные. Вертелись около лагеря русских и дети, особенно мальчишки: их завораживал чужой язык, как магнит тянули к себе оружие и техника, удивляли странные привычки чужеземных солдат, а еще воображение местных подростков поражал один сержант, все лицо которого было изрезано шрамами; мальчишки с восхищением смотрели, как он, развлекая публику, жонглировал сразу четырьмя ножами. Рольф пробирался в военный лагерь чаще своих друзей и задерживался там дольше, чем они; он делал это, несмотря на строжайший запрет матери приближаться к оккупантам. Вскоре он уже без страха подсаживался к сержанту-жонглеру, пытаясь понять, что тот говорит на своем языке, а через какое-то время стал учиться у него метать ножи. Русские довольно быстро вычислили среди местных жителей как коллаборационистов, так и скрывающихся дезертиров. Начались военно-полевые суды; заседания были краткие, и решения выносились без лишних проволок: во-первых, из-за нехватки у представителей оккупационных властей времени на соблюдение всех формальностей, а во-вторых, по причине малого интереса местной общественности к подобным мероприятиям. Люди не то чтобы не жалели подсудимых, но неохотно ходили в зал заседаний из-за смертельной усталости и нежелания в очередной раз выслушивать обвинения во всеобщем, пусть и не явном сотрудничестве с фашистским режимом. Тем не менее, когда очередь дошла до Лукаса Карле, в зале заседаний трибунала, к удивлению судей, появились Йохен и Рольф. Братья молча заняли места в глубине зала и стали слушать. Обвиняемый, похоже, не собирался раскаиваться в том, что делал во время войны; в свое оправдание он лишь заявил, что выполнял приказы командиров и что, отправляясь на войну, рассчитывал ее выиграть и не собирался подвергать сомнению распоряжения вышестоящего начальства. Сержант-жонглер, увидев появившегося в зале заседаний Рольфа, пожалел мальчишку и хотел было вывести его на улицу, но тот был твердо намерен досидеть до конца и узнать, какой приговор вынесут его отцу. Ему было бы трудно объяснить человеку со шрамами истинную причину своей бледности: вовсе не сочувствие отцу одолевало мальчика, наоборот, он втайне надеялся, что предъявленные Лукасу Карле обвинения окажутся достаточно серьезными и неопровержимыми, чтобы русские могли со спокойной душой поставить его к стенке. Когда же прозвучал приговор и выяснилось, что отцу Йохена и Рольфа предстоит провести полгода на каторжных работах где-то на шахтах Украины, братья посчитали, что он слишком легко отделался; мысленно оба они стали молиться о том, чтобы отец умер где-нибудь там, на чужбине, и никогда больше не возвращался.

Несмотря на окончание войны, жизнь простых людей легче не стала; долгие годы главной их заботой было хоть как-то прокормиться, раздобыв еду любым доступным способом. Йохен даже читал не слишком бегло – едва ли не по слогам, – но он был сильным и упорным парнем. Отец снова покинул дом, и, поскольку работать на полях, изуродованных войной, не было никакого смысла, старший брат Рольфа взял на себя ответственность за обеспечение семьи – по крайней мере, пропитанием. Чем он только не занимался: рубил лес, собирал и продавал ежевику и грибы, охотился на кроликов, куропаток и лис. Очень скоро к нему присоединился и Рольф: работать вдвоем было легче, веселее и выгоднее, а кроме того, вдвоем они, как работавшиеся напарники, легко и весьма успешно подворовывали кое-что по мелочи в соседних городках и деревнях. Делали они это втайне от матери, которая даже в самые трудные времена

жила так, будто война была чем-то далеким и отстраненным и лично ее никак не касалась; следовательно, никаких послаблений с точки зрения морали она не могла позволить ни себе, ни детям. Эта твердая убежденность в том, что жить нужно честно, помноженная на стремление вбить христианские заповеди в головы собственных детей, приводила к тому, что ложиться спать на голодный желудок им приходилось даже чаще, чем большинству соседей и знакомых; и много лет спустя, когда все рынки были завалены любыми продуктами, когда повсюду, буквально на каждом углу, продавались жареная картошка, сосиски и сласти, Рольфу продолжал сниться черствый кисловатый хлеб, спрятанный в щели между досками под его кроватью.

Госпоже Карле удалось сохранить присутствие духа и веру в Бога вплоть до того дня, когда ее муж вернулся с Украины, полный решимости окончательно обосноваться у семейного очага. Но в тот миг душевные силы покинули ее. Она словно сжалась в комок, ушла в себя и будто погрузилась в мысленный бесконечный диалог с самой собой. Всю жизнь преследовавшее ее чувство страха окончательно парализовало ее волю и не позволило столько лет копившейся ненависти выплеснуться наружу. Женщина с привычной аккуратностью продолжала выполнять все работы по дому. Она вставала на рассвете и ложилась спать глубокой ночью; уход за беспомощной Катариной и обслуживание остальных членов семьи требовали от нее много времени и сил; при этом она практически перестала разговаривать и улыбаться, а кроме того, раз и навсегда забыла дорогу в церковь. Она не могла заставить себя вновь опуститься на колени перед тем жестоким и бесчеловечным Богом, который так и не услышал ее справедливой мольбы о том, чтобы Лукас Карле отправился наконец в ад. Она больше не пыталась защитить Йохена и Рольфа от отцовских выходок. Крики, побои, ссоры, порой переходившие в драки, – все это стало казаться ей естественным и не вызывало в ее душе никаких эмоций. Все свободное время женщина проводила, сидя у окна и рассеянно глядя куда-то вдаль. В такие минуты она переносилась из чудовищного настоящего в то далекое прошлое, когда в ее жизни еще не было Лукаса Карле, а сама она была девушкой-подростком, не ведавшей о том, что ей уготована столь горькая доля.

Карле был сторонником теории, согласно которой все люди делятся на два типа: молоты и наковальни; одни созданы для того, чтобы бить, а другие – чтобы били по ним. Само собой, он всегда мечтал о том, чтобы его сыновья стали настоящими молотами. Его бесило, когда он видел в детях, и особенно в Йохене, хоть какое-то проявление слабости. Старшему сыну бывшего школьного учителя вообще доставались все «сливки» отцовской системы воспитания. Отец терпеть не мог, когда в ответ на какой-нибудь заданный вопрос или на окрик Йохен начинал заикаться и грызть ногти; сын же, просыпаясь по ночам, подолгу лежал без сна и думал о том, как он вырвется из этого ада, как раз и навсегда избавится от роли жертвы отцовских комплексов и садистских наклонностей. Увы, наутро все дерзкие планы улетучивались и Йохен, понутив голову, получал очередную выволочку от отца, не в силах заставить себя возмутиться и дать отпор. Страх парализовал его волю к сопротивлению, несмотря на то что физически он давно уже был сильнее отца: он перерос того почти на целую голову, а силой мог потягаться с любой ломовой лошады. Это торжество смирения продолжалось до того январского вечера, когда Лукасу Карле в очередной раз приспичило поиграть в красные туфли. Оба мальчика были уже достаточно взрослыми, чтобы догадываться, почему в доме вдруг повисает мрачная тишина, на что намекают напряженные взгляды, которыми обмениваются родители, и по опыту знали, что произойдет в самое ближайшее время. Так все и случилось: Карле, как всегда, приказал сыновьям увести Катарину, уложить ее спать, а затем запереться в своей комнате и не выходить оттуда ни под каким предлогом. Прежде чем уйти к себе, Йохен и Рольф успели заглянуть в глаза матери и вновь почувствовать страх в ее взгляде, ощутить дрожь, бившую все ее тело. Через некоторое время, когда они уже лежали в кроватях, по дому разнеслась музыка включенного на полную громкость патефона.

– Пойду посмотрю, что он там делает с мамой, – решительно сказал Рольф, когда вдруг осознал, что не может дольше пребывать одновременно в неведении и в твердой уверенности, что там, по другую сторону коридора, происходит что-то ужасное, всегда присутствовавшее в их доме.

– Лежи и не высовывайся. Я сам все выясню, я же старший, – ответил Йохен.

И действительно, вместо того чтобы спрятаться с головой под одеяло, как делал всю жизнь, он встал и спокойно, без суеты и спешки начал одеваться: он надел брюки, теплую куртку, шапку и зимние сапоги. Проверив, не забыл ли чего, он вышел из комнаты, пересек коридор и попытался открыть дверь гостиной. Как и следовало ожидать, она оказалась заперта изнутри. Годы работы лесорубом не только дали Йохену немалую силу, но и приучили его действовать размеренно и осторожно, продумывая каждое движение. Вот и сейчас он не торопясь сделал шаг назад, примерился и вроде бы неторопливо поднял ногу. В ту же секунду подошва его ботинка обрушилась на дверь, сорвав ее с петель. Рольф, босиком и в одной пижаме, вышел из комнаты вслед за братом и теперь, заглянув в гостиную, с ужасом увидел совершенно голую мать в одних лишь безумного красного цвета туфлях на высоченных каблуках. Казалось, что это не обувь, а какие-то дурацкие ходули, на которые она зачем-то взобралась. Лукас Карле в ярости заорал на сыновей, чтобы они немедленно убирались, но Йохен, не слушая его, пересек комнату, обошел стол, отодвинул мать, попытавшуюся остановить его, и подошел к отцу вплотную с такой решимостью, что тот от удивления замолчал и, почуввав неладное, попятился. Сжатый кулак обрушился на лицо отца, как молот; сила удара была такова, что того подбросило в воздух и он со всего размаху рухнул спиной на сервант, сломав при этом дверцы и полки и перебив большую часть посуды. Рольф посмотрел на сползшего на пол, неподвижно лежащего отца, судорожно сглотнул, вернулся в свою спальню и принес одеяло, чтобы мать могла прикрыться.

– Прощай, мама, – сказал Йохен, стоя у двери, выходящей на улицу; посмотреть в глаза матери он так и не решился.

– Прощай, сынок, – негромко произнесла она, чувствуя, как на душе у нее становится легче: по крайней мере, хоть кто-то из близких будет теперь в безопасности.

На следующий день Рольф надел оставшиеся от старшего брата брюки, подвернул слишком длинные штанины и повел отца в больницу, где тому не без труда вернули челюсть на положенное место. Несколько недель тот не мог говорить и ел только жидкую пищу с помощью большой пипетки. После ухода из дома старшего сына госпожа Карле вообще перестала злиться или ругаться на кого бы то ни было; таким образом, Рольфу пришлось противостоять самому ненавистному и презираемому им человеку в одиночку.

Катарина глядела на мир, как белка, – легко и свободно. Ее душа не удерживала воспоминаний о пережитом. Она могла самостоятельно есть, могла предупредить о том, что ей нужно в туалет, и могла мгновенно спрятаться под стол при появлении отца, но больше она так ничему и не научилась. Рольф каждый день делал ей маленькие подарки, которые она принимала как брошенные к ее ногам несметные сокровища: драгоценностью был то майский жук, то отполированный водой камешек с берега реки, то орех, который Рольф аккуратно раскалывал на глазах у сестры и, вынув ядро, угощал ее. Она дожидалась брата, сидя под кухонным столом и догадываясь о его приближении по звуку шагов. Выглянув из своей норки между ножками стульев, она издавала какое-то восторженное бормотание, похожее на голос радующейся чайки. Она могла часами сидеть неподвижно под кухонным столом, под надежной крышей из плохо обструганных досок. Там Катарина дожидалась, когда отец уйдет наконец спать и кто-нибудь вытащит ее из норы. Она привыкла жить в этом убежище, где единственным свидетельством существования внешнего мира были то приближающиеся, то удаляющиеся шаги отца, матери и брата. Порой она не хотела выходить оттуда, даже когда опасность была уже позади. В таких случаях мать ставила ей миску с едой прямо под стол, а Рольф после ужина приносил свое оде-

яло и забирался к сестре под стол, где и спал всю ночь, согнувшись в три погибели. Частенько, когда Лукас Карле садился обедать или ужинать, его ноги задевали спрятавшихся под столом детей; они сидели там молча, неподвижно, взявшись за руки. В этом убежище они ощущали себя в безопасности: никто их там не видел, никто не знал об их существовании, даже звуки и запахи проникали в их нору ослабленными и приглушенными, словно через толщу воды. Брат с сестрой прожили под кухонным столом целую жизнь. Рольф Карле навсегда запомнил матовый, словно молочный, свет, пробивавшийся сквозь плотную ткань скатерти. Однажды, много лет спустя, на другом конце света, вспомнив об этом во сне, он проснется рядом с любимой женщиной весь в слезах – проснется на кровати, отгороженной от мира белой противомоскитной сеткой.

Глава третья

В ночь на Рождество, когда мне было уже лет шесть, маме в горло попала куриная косточка. Профессор, вечно одолеваемый жадой обладать все новыми знаниями, казалось, вообще забыл про какие-либо праздники, включая Рождество. Наверное, он и понятия не имел, что в сочельник все мы, работавшие и служившие у него в доме, собирались на заднем дворе особняка, чтобы устроить праздничную трапезу и повеселиться. На кухне мы строили рождественский вертеп с фигурками, вылепленными из глины, садились за большой стол, распевали рождественские псалмы, и мне все что-нибудь дарили. Подготовка к праздничному ужину начиналась заранее, как минимум за несколько дней: этого требовала технология приготовления главного блюда – так называемого креольского жаркого, придуманного привезенными в страну рабами еще в стародавние времена. Тогда, в колониальную эпоху, в богатых и просто состоятельных семьях 24 декабря всегда устраивали праздник со щедрым угощением. На следующий день остатки со стола хозяев переходили в миски слуг и рабов; у тех ничего не пропадало – все оставшиеся объедки мелко резались, а затем полученный фарш выкладывался на кукурузное тесто, и все это оборачивалось банановыми листьями. Свернутые рулеты потом просто варили в больших котлах. В результате этих нехитрых действий получалось настолько восхитительное блюдо, что рецепт его приготовления, пусть и претерпевший некоторые усложнения и изменения, сохранился до наших дней. Ежегодно это блюдо готовится именно к Рождеству. Ни о каких остатках с барского стола речь уже не идет: никто никому не отдает недоеденную пищу. Каждую составляющую сложного блюда приходится готовить отдельно и заранее; работа эта долгая и утомительная. На хозяйственном дворе особняка профессора Джонса слуги держали кур, индюшек и даже поросенка; весь год их откармливали ради одного-единственного праздника чревоугодия и безудержного веселья. Примерно за неделю до Рождества всю живность переводили на усиленное питание: индюшек и кур раза два в день отлавливали, впихивали им в глотку очищенные орехи и вливали по глоточку рома; поросенку же заменяли воду в поилке на молоко с разведенным в нем темным тростниковым сахаром и специями. Таким образом, к нужному дню все мясо должно было приобрести необходимую нежность, сладость и аромат. К этому же дню женщины чистили жаровни, сковородки и делали запас прокопченных банановых листьев. Забить свинью, равно как и свернуть голову курам и индюшкам, доверяли мужчинам: дело это было хлопотное, шумное, но, судя по всему, веселое и увлекательное. Пьянящая кровавая оргия плавно переходила в торжество обжорства. Поросячий визг и кудахтанье кур сменялись веселыми криками, аппетитным бульканьем котлов, шипением сковородок и восхитительными ароматами готовящихся блюд. Все пьянели прямо на глазах – не то от выпитого рома, не то от вида крови и смерти, не то от крепкого ароматного бульона, не то от бесконечных кусков мяса, поначалу еще сырого и почти теплого, а затем вареного или жареного. В сочельник все собравшиеся на кухне начинали петь рождественские псалмы, вознося хвалы Младенцу Иисусу в радостном, праздничном, все ускоряющемся ритме; тем временем в другом крыле особняка жизнь шла своим чередом – для профессора этот день был самым обыкновенным, ничем не отличавшимся от всех остальных. Он, похоже, даже понятия не имел, что наступило Рождество. Злосчастная куриная косточка каким-то образом попала в тесто, и мама проглотила ее, не заметив. Кость встала у нее поперек пищевода; спустя несколько часов у мамы пошла горлом кровь, а еще через три дня она тихо скончалась, никому и ни на что не жалуюсь. Умерла она так же, как и прожила всю жизнь, – незаметно, стараясь никого не беспокоить и не привлекать к себе лишнего внимания. Я была с ней все это время – до последней минуты; я до конца жизни запомнила все, что со мной и с нею происходило, уже тогда понимая, что мне придется тренировать память и учиться обострять чувства и восприятие мира,

чтобы мама, голос которой будет звучать теперь неизмеримо тише, не потеряла меня среди мечущихся теней того, другого мира, куда переносятся души ушедших от нас людей.

Она умирала не только тихо, но и бесстрашно – ради того, чтобы не напугать меня. Что именно в ее организме повредила куриная кость, я с уверенностью сказать не могу, но, похоже, она проткнула одну из артерий, и мама просто истекла кровью – по своему обыкновению так, что поначалу никто ничего не заметил. Почувствовав, что жизнь вот-вот покинет ее, она позвала меня, и мы заперлись в нашей комнатухе, чтобы быть вместе до конца. Двигаясь медленно и осторожно, не торопя приближающуюся смерть, она умылась водой с мылом, чтобы избавиться от не нравившегося ей мускусного запаха, причесала свои длинные и густые волосы, надела белую юбку, сшитую собственноручно в часы сиесты, и легла на тот же самый тюфяк, на котором когда-то зачала меня. Я по малолетству, естественно, не понимала всего значения проходившей у меня на глазах церемонии, но внимательно следила за каждым жестом, каждым движением матери и запомнила все вплоть до малейших деталей. Я и сейчас помню эти последние проведенные с мамой часы и минуты так же отчетливо, как будто это было вчера.

– Смерти на самом деле нет, доченька. Люди умирают по-настоящему, лишь когда их забывают, – говорила мне мама, перед тем как уйти в другой мир. – Если будешь помнить меня, то я всегда буду с тобой.

– Я всегда буду тебя помнить, – пообещала я.

– Ну хорошо, а сейчас пойді позови свою крестную.

Я пошла на кухню и позвала кухарку, ту самую крупную мулатку, которая помогла мне появиться на свет, а в положенное время поднесла меня к крестильной чаше.

– Позаботься о моей девочке. Мне больше некого просить, у нее в этом мире, кроме тебя, никого нет, – сказала ей мама, аккуратно вытирая струйку крови, стекавшую у нее по подбородку.

Затем она взяла меня за руку и беззвучно, одними глазами сказала мне, как она меня любит. Вскоре ее взгляд как бы затуманился, и жизнь, все так же беззвучно, покинула ее тело. Что-то светлое, лучистое и теплое, казалось, на несколько мгновений наполнило комнату ласковым, едва заметным переливающимся сиянием. Затем свет, проникавший в комнату через окно и дверь, вновь стал привычно желтым, чуть заметный уксусно-мускусный аромат улетучился, и помещение снова наполнилось привычными, обыденными запахами. Я взяла мамину голову в руки, приподняла ее и, потрясенная обрушившимся на меня безмолвием одиночества, стала звать ее. Мама, мама, кричала я, отказываясь верить, что нас с ней теперь навеки разделила непреодолимая пропасть.

– Не реви, все люди когда-нибудь умирают, ничего особенного в этом нет, – сказала мне крестная, несколькими движениями ножниц обрезаив мамини волосы, которые она решила сдать в лавку, где изготовляли и продавали парики. – Давай лучше унесем ее отсюда, пока хозяин не узнал, что она умерла, а то он того и гляди прикажет отнести твою маму к себе в лабораторию.

Я подобрала мамини волосы, собрала их в пучок и намотала на шею. Затем я забралась в дальний угол комнаты, села там на пол, спрятав голову между коленями; я даже не плакала, не понимая еще по-настоящему всю тяжесть понесенной утраты. Так я и просидела несколько часов, до самого вечера – до тех пор, пока в комнату не вошли двое незнакомых людей. Они завернули тело моей матери в единственное покрывало с нашей кровати и, не сказав ни слова, вынесли маму на улицу. С этого мгновения к чувству одиночества прибавилось ощущение бездонной, непрозрачной и непроницаемой пустоты, обступившей меня со всех сторон и заслонившей привычный мир.

Когда потрепанная телега-катафалк уехала со двора, крестная заглянула ко мне в комнату. Чтобы увидеть, куда я подевалась, ей пришлось зажечь спичку. Помещение было погружено в темноту: единственная лампочка в нашей с мамой комнате перегорела, а рассвет,

казалось, в нерешительности остановился на пороге. Разглядев наконец меня – съездившийся комочек в дальнем углу у самой стены, – крестная несколько раз позвала меня, обращаясь по имени и фамилии: Ева Луна, Ева Луна. Далеко не сразу, медленно и постепенно возвращалось ко мне чувство реальности. Первое, что я увидела, были большие ноги крестной в растоптанных шлепанцах; затем мой взгляд скользнул по ее хлопчатобумажному платью и уткнулся в глаза. В этих глазах стояли слезы. В неверном свете уже догоравшей спички она успела мне улыбнуться. Затем комната вновь погрузилась в темноту, и я лишь почувствовала, что крестная наклоняется ко мне, берет меня на руки, кладет к себе на колени и начинает баюкать под какую-то негромкую, воркующую африканскую колыбельную.

– Родилась бы ты мальчиком, тогда пошла бы в школу, а потом выучилась на юриста. Сама бы в достатке жила и со мной на старости лет куском хлеба поделилась. Эти адвокаты-крючкотворы больше всех зарабатывают, знают, как любое дело запутать и на чужих бедах нажиться. Чем вода мутнее, тем крупнее у них рыба ловится, – такие слова не раз слышала я от крестной.

Она была твердо уверена, что лучше быть мужчиной, чем женщиной. У мужчины, говорила она, даже у самого жалкого и ничтожного, по крайней мере есть жена, над которой он главный и потому может приказывать ей и требовать от нее подчинения. Сейчас, спустя много лет, я начинаю понимать, что в некотором роде крестная была права, хотя и по сей день мне не удастся представить себя в мужском теле; да ну его, чего стоят только усы и борода; кроме того, свойственное всем мужчинам желание командовать и быть первыми, наверное, заложено не в их психике, а уже в самом их теле. Я не знала бы, куда девать это желание, как, впрочем – если говорить начистоту, – и ту странную, плохо управляемую и своенравную штуку, которая находится у них внизу живота. По-своему крестная меня любила, только эта любовь проявлялась не слишком убедительно. В какой-то мере суровость с ее стороны была оправданной: она считала, что меня следует воспитывать в строгости и без лишних нежностей. Ну а потом случилось так, что крестная слишком рано для своего возраста выжила из ума; требовать от нее какой-то осмысленной любви было бы неразумно уже с моей стороны. В те времена она вовсе не была той старой развалиной, в какую превратилась сейчас; она была дерзкой, уверенной в себе женщиной средних лет, с весьма впечатляющими формами – пышная грудь, никакой талии и роскошные широченные бедра. Когда она шла по улице, казалось, что у нее под юбками спрятаны не то что увеличивающие объем подушки, а целый обеденный стол. Мужчины оборачивались ей вслед и выдавали рискованные, если не сказать – сальные комплименты. Многие пытались ущипнуть ее за зад, а она даже не уворачивалась: ее ягодицы и бедра, казалось, были просто непробиваемы. Зато самых настойчивых ухажеров она легко отшивала резкими и убийственно остроумными замечаниями по поводу их мужских достоинств; порой, не утруждая себя подыскиванием особо заковыристого ответа, она просто напускалась на очередного обидчика с руганью: мол, что ты себе позволяешь, черномазый? Да за кого ты меня принимаешь? При этом она начинала громко смеяться, демонстрируя окружающим ослепительную в буквальном смысле слова улыбку – все зубы у нее были золотые. Каждый вечер она тщательно мылась, стоя в большой лохани, поливая себя водой из кувшина и натирая все тело намыленной тряпкой. Дважды в день она меняла блузку, обильно опрыскивалась розовой водой, мыла голову яичным желтком и чистила зубы солью, чтобы те горели огнем. Несмотря на все ее ухищрения, несмотря на мыло и розовую воду, от нее всегда исходил сильный приторно-сладкий запах. Мне он даже нравился, потому что напоминал аромат кипяченого, быть может слегка пригоревшего, молока. Порой крестная просила меня полить ей воду на спину; меня приводило в восторг это огромное темное тело, эта грудь с почти черными сосками, лобок, покрытый густыми курчавыми волосами, ягодицы, плотные и блестящие точь-в-точь как кожаное кресло, в котором доживал последние годы профессор Джонс. Крестная ласково терла себя мыльной тряпкой и довольно улыбалась. Дородство и обильность

тела были для нее предметом гордости, а не переживаний. Ее походка была исполнена какой-то неуловимой грации: всегда с выпрямленной спиной, с расправленными плечами, она двигалась, словно танцуя в такт звучащей где-то внутри нее и слышимой только ей музыке. Во всем остальном она была груба и неотесанна; даже смеялась и плакала она резко и отрывисто. Гнев и ярость нападали на нее неожиданно, порой без всякого внешнего повода. Рассердившись, она начинала лупить кулаками воздух, а если причиной был кто-то находившийся рядом, то и его могла настичь увесистая оплеуха. На меня эти удары, даже задевавшие меня вскользь, не в полную силу, действовали словно прямое попадание артиллерийского снаряда. Однажды крестная, сама того не желая, разбила мне ухо в кровь и повредила барабанную перепонку. В доме доктора она от случая к случаю помогала ему в лаборатории, хотя не испытывала к мумиям ни симпатии, ни малейшего сочувствия. В основном же она в течение многих лет работала кухаркой, получая больше похожее на милостыню жалованье, которое тратила главным образом на ром и табак. За мое воспитание она взялась прежде всего потому, что считала это своим священным долгом; ответственность крестной перед крестницей была для нее даже большей, чем та, что накладывают родственные узы: нет прощения тому, кто бросит своего крестника. Бросить собственного ребенка и то меньший грех. Я должна воспитать тебя доброй, чистой душой и телом и трудолюбивой. За это с меня строго спросят в день Страшного суда. Что ж, несмотря на то что моя мать не верила во врожденные грехи и не считала необходимым крестить меня, мулатка-кухарка даже не настаивала, а просто требовала от Консуэло совершить этот обряд. Ну хорошо, если уж вам так хочется, поступайте так, как считаете нужным, сдалась наконец моя мама. Только умоляю, не меняйте имя, которое я ей выбрала. Кухарка три месяца не курила и не покупала спиртного и таким образом сумела скопить немного денег, на которые купила мне платье из органзы клубничного цвета. Нарядив меня в эту обновку, она еще и ухитрилась вплести тоненькую ленточку в жалкие три-четыре волоска, которые росли тогда на моей головке, опрыскала меня своей любимой розовой водой и, взяв на руки, понесла в церковь. У меня сохранилась сделанная в тот день фотография: на ней я больше всего похожа на наряженную и хорошо упакованную куклу – отличный подарок на день рождения какой-нибудь девочке постарше. Ни на что, кроме платяца, денег у крестной не хватило. Проведенный по всей форме обряд крещения она отработала уборкой в храме; дело не ограничилось банальным подметанием и даже мытьем полов: она отдраила с мелом все металлические украшения и натерла воском деревянные скамьи для прихожан. С ее точки зрения, дело того стоило: я приняла крещение как девочка из богатой семьи, со всей подобающей пышностью.

– Да если бы не я, ты так бы нехристью и осталась. А знаешь, что бывает даже с душами безгрешных людей, умерших без крещения? Они попадают в чистилище и вечно маятся там, а попасть в рай даже и не надеются, – при каждом удобном случае повторяла крестная. – Другая на моем месте тебя бы просто продала. Конечно, пристроить девочку со светлыми глазами проще простого, говорят, что гринго покупают их за хорошие деньги и увозят на край света – в свою страну. Но я на такое пойти не могу – как-никак я за тебя отвечаю перед твоей бедной мамой, покинувшей нас, и, если я не исполню свой долг, поджарят меня черти в аду на своих сковородах.

Для крестной мир делился на черное и белое, границы между добром и злом были четко прочерчены, и она всегда знала, что есть грех и как меня нужно от него уберечь. В качестве профилактической меры, равно как и для наказания, она использовала тумаки и подзатыльники. Другие педагогические приемы ей были попросту неведомы. Ее и саму воспитывали точно так же. Применение в воспитательном процессе игры, а уж тем более ласки – это вообще недавняя, можно сказать, современная теория. Ей такая глупость и в голову не приходила. Она всячески пыталась приучить меня не просто сноровисто работать, а еще и находить в этом удовольствие и радость. Мечты и детские грезы не выдерживали такого напора, и мой придуманный мир разрушался на глазах. Крестную просто бесило, когда она видела, как я с отсут-

ствующим, рассеянным выражением лица и к тому же не в полную силу берусь за работу. Она-то считала, что, получив ее распоряжение, я должна бросаться выполнять его бегом и не останавливаться ни на миг, пока работа не будет сделана. У тебя даже не ветер, а туман в голове, ну а к ногам будто гири привязаны, говорила она, натирая мне ступни эмульсией Скотта – самым дешевым, но страшно модным в те годы тонизирующим кожу средством; эту мазь делали на основе тресковой печени, которая, если верить рекламе, была в реабилитационной медицине чем-то вроде философского камня.

Разум крестной под воздействием выпитого рома пребывал, деликатно выражаясь, в несколько затуманенном состоянии. В том, что касалось веры и религии, у нее в голове творилась полная неразбериха. Она поклонялась как католическим святым, так и целому сонму других – африканского происхождения и, как я полагаю, ее собственного изобретения. У себя в комнате она соорудила небольшой алтарь, где мирно уживались баночки со святой водой и какие-то фетиши культа вуду. Фотография ее покойного отца соседствовала с неким гипсовым бюстом. Сама она полагала, что это статуэтка святого Христофора, я же впоследствии выяснила, что это не кто иной, как Бетховен, но сообщать крестной, что она столько лет пребывала в заблуждении насчет своего любимого и благосклонного к ее просьбам святого, мне почему-то не захотелось. Она постоянно болтала с почитаемыми ею божествами, обращаясь к ним запросто, порой даже панибратски, если не сказать – требовательно и дерзко; впрочем, просьбы ее обычно были не слишком значительны и серьезны, и при желании любой святой мог бы их исполнить. Когда такое чудо техники, как телефон, стало настолько доступным, что оказалось даже в распоряжении крестной, та незамедлительно воспользовалась современным средством связи для общения со своими небесными покровителями. Она брала трубку и вслушивалась в гудки и треск помех на линии, одной ей ведомым способом вычленила из этой какофонии особо значимые слова своих небесных собеседников. Именно таким образом – по телефону – она получала указания от своих богов, касающиеся порой самых малозначительных дел, даже сущих пустяков. Отдельного внимания был удостоен святой Бенито – красавчик-блондин, известный своей склонностью к веселой и разгульной жизни. Судя по его жизнеописанию, женщины ему просто проходу не давали, и, чтобы сосредоточиться наконец на служении глубоко почитаемому им Богу, красавец Бенито даже встал в струю дыма, поднимавшегося над жаровней, и простоял там, задыхаясь и кашляя, пока не прокоптился до костей и не стал похож на головешку. Лишь избавившись от красоты и истрепав роскошно украшенную тунику, он смог посвятить себя благочестивым деяниям и молитвам. Вот к этому-то бывшему гуляке крестная и обращалась с просьбами помочь ей ограничить себя в потреблении рома, становящемся все более бесконтрольным. А еще она была редким специалистом по части пыток, телесных наказаний и невероятно жестоких казней – словом, всех тех мучений, которые выпадали на долю столь тяжело пострадавших за веру святых. Она помнила наперечет, как именно закончили свои земные дни практически все святые, великомученики и невинно убиенные девы, имена которых хотя бы раз упоминались в житиях или святцах. Я слушала ее рассказы не только со страхом, но и с каким-то нездоровым удовольствием: всякий раз мне хотелось услышать новые леденящие кровь подробности. Среди самых любимых моих историй было житие святой Луции⁷ – этот рассказ я готова была слушать чуть ли не ежедневно, причем обязательно со всеми чудовищными деталями: почему Луция отказала влюбленному в нее императору, как ей вырвали глаза и как эти глазные яблоки, поднесенные императору на серебряном подносе, бросили на своего обидчика такой исполненный света и боли взгляд, что тот, встретившись с ним, незамедлительно ослеп. Нельзя не добавить, что у этой истории, мне на радость, был счастливый конец: у несчастной девушки чудесным образом появились новые глаза – тоже голубые, только еще красивее, чем прежде.

⁷ *Святая Луция Сиракузская* (ок. 283 – ок. 304) – христианская великомученица, покровительница слепых.

Вера моей бедной крестной была крепка и непоколебима, никакие горести и напасти не могли заставить ее усомниться в промысле Божьем. Не так давно, когда в нашу страну приезжал с визитом папа римский, я обратилась в администрацию дома престарелых и под расписку забрала крестную на один день, чтобы та, не дай бог, не упустила возможности лицезреть понтифика, в белоснежном одеянии и с золотым крестом, излагающего проповеди на безупречном испанском, а частично – если того требовал состав паствы – и на диалектах местных индейцев. Увидев, как по улице мимо домов с только что покрашенными фасадами движется сверкающая колесница с водруженным на нее аквариумом из бронированного стекла, крестная решила, что к нам в столицу заехал, совершая туристский круиз, не кто иной, как сам пророк Илия. Это впечатление усиливали толпы людей, оказавшихся в тот момент на улице, яркие флаги, транспаранты, охапки цветов, устилающих мостовую перед автомобилем папы, и сопровождавший понтифика эскорт телохранителей. Я опасалась, как бы уже немолодую крестную не затоптали в толпе, она же и слышать не хотела, чтобы уйти с главной улицы, и успокоилась, лишь когда я купила ей как реликвию волос с головы самого папы. В те дни многие люди вдруг захотели стать хорошими и добрыми; кое-кто даже пообещал простить своих должников и не затрагивать в своих речах ни классовую борьбу, ни контрацепцию, чтобы ни в коем случае не дать святому отцу поводов для огорчения. Что касается меня, то должна признаться: всеобщего энтузиазма по поводу этого визита я не разделяла, потому что слишком уж неприятные воспоминания остались у меня от соприкосновения с религией и Церковью. Как-то раз, когда была еще ребенком, крестная сводила меня на воскресную мессу, а по окончании проповеди показала мне какую-то кабинку с занавеской и зарешеченным окошком и потребовала, чтобы я встала там на колени. Как именно следовало сложить при этом руки, я так и не поняла. Даже на подсознательном уровне мое тело отказывалось выполнять требования, налагаемые религиозными канонами: мои пальцы не хотели гнуться так, как нужно. Плотная занавеска перед моим лицом приоткрылась, и через мелкую решетку в кабинку ворвалось чье-то тяжелое дыхание, а суровый голос потребовал рассказать о грехах, в которых я готова была покаяться; не зная, что сказать, я стала лихорадочно соображать, что же такого плохого я сотворила, но, как назло, память словно отшибло – я никак не могла вспомнить за собой хоть какого-нибудь мало-мальски значительного греха.

– Касаешься ли ты своего тела руками?

– Да...

– Часто ли, дочь моя?

– Каждый день.

– Каждый день! Сколько раз?

– Ну, я не считала... много раз...

– Но это же страшный грех пред лицом Господа нашего!

– Я не знала, отец. А если я перчатки надену, это все равно будет грех?

– Какие еще перчатки! Безумная, что ты несешь! Ты что, смеешься надо мной?

– Нет, нет... – в ужасе пробормотала я, прикидывая при этом, насколько неудобно будет мыться, чистить зубы и причесываться в перчатках.

– Пообещай, что больше никогда не будешь этого делать. Чистота и невинность – высшие добродетели, доступные девочке. Чтобы Бог простил тебя, покайся, а в наказание пятьсот раз прочти Ave Maria.

– Я не смогу, отец, – сказала я, имея в виду, что считать меня научили пока только до двадцати.

– Как это ты не сможешь?! – завопил из-за решетки священник, оросив меня брызгами сорвавшейся с губ слюны.

Я пулей выскочила из исповедальни, но крестная перехватила меня прямо на лету. Удерживая меня за ухо, чтобы я куда-нибудь не подевалась, она мило побеседовала со священни-

ком по поводу того, что меня пора пристроить к работе, пока мой характер окончательно не испортился и я вконец не погубила свою, уже изрядно заблудшую душу.

Вскоре после смерти моей мамы настал и час профессора Джонса. Умер он от старости, несомненно разочарованный в этом мире и в собственной мудрости, но при этом, могу поклясться, скончался он с миром в душе и в согласии с самим собой. Уяснив под конец жизни, что забальзамировать самого себя не удастся, а следовательно, не получится и вечно восседать за столом в кабинете среди любимых книг, он составил завещание, в котором распорядился переслать свои останки в тот город, где он когда-то родился. Перспектива обрести вечный покой здесь, на местном кладбище, его никак не прельщала. Сомнительная радость, говорил он, лежать в чужой земле под палящим солнцем и в негигиеничной близости с неизвестно какими жалкими и убогими людишками. Умирал он в своей постели под непрерывно работавшим вентилятором; от предсмертных судорог его все время бросало в пот, но рядом с некогда известным и уважаемым человеком в его последние минуты не было никого, кроме священника с Библией и меня. Остатки страха, которые он когда-то внушал, я потеряла, когда поняла, что без посторонней помощи он не может даже рукой пошевелить, и когда вместо громоподобного голоса услышала лишь хриплую одышку старика, стоящего на пороге смерти.

Теперь в этом доме, всегда закрытом для мира, в доме, где смерть организовала свой постоянный двор на этой земле, где ее присутствие ощущалось с тех самых пор, как профессор начал свои эксперименты, я могла чувствовать себя практически свободной. За мной больше никто не присматривал, дисциплина, которую профессор с таким трудом установил в доме, ослабла, как только он перестал следить за прислугой, прекратил кататься по особняку в кресле-коляске, устраивая неожиданные проверки и изматывая всех бесконечными распоряжениями, часто противоречившими друг другу. Я видела, как, уходя домой, слуги уносили из особняка серебряные столовые приборы, ковры, картины и даже стеклянные флаконы и колбы, в которых ученый хранил свои препараты. Как-то само собой получилось, что никто уже не накрывал стол профессора белоснежной крахмальной скатертью, никто не драил до блеска приборы, никто не отмывал до белизны фарфор, в подсвечниках перестали зажигать свечи, никто не торопился подать хозяину после еды его любимую трубку. Крестная перестала утруждать себя разнообразием меню и на завтрак, обед и ужин неизменно подавала профессору печеные бананы, рис и жареную рыбу. За домом перестали следить, и вскоре во всех углах появилась сырость, а вслед за ней по стенам и полам поползла плесень. За садом толком не ухаживали уже несколько лет – с тех самых пор, как моего отца укусила ядовитая змея сурукуку; буйная дикая растительность не замедлила воспользоваться таким небрежным отношением к упорядочению ландшафта и довольно быстро превратила сад в часть сельвы. Более того, джунгли были готовы поглотить и дом, а затем, преодолев забор, захватить тротуар и саму улицу. Слуги тем временем все удлиняли себе часы сиесты, то и дело выходили прогуляться по улице и в гости к соседям, постоянно пили ром и целыми днями слушали радио; естественно, в репертуаре преобладали болеро, кумбии, ранчеры⁸ и произведения других популярных жанров. Несчастный профессор, который, будучи здоровым, не признавал ничего, кроме пластинок с классической музыкой, теперь страшно мучился, вынужденный слушать эти низкопробные мелодии; напрасно он из последних сил тянулся к колокольчику: на его зов уже давно никто не откликался. Крестная поднималась к нему в спальню лишь в те часы, когда старик засыпал; она окропляла его святой водой, принесенной из церкви, и неизменно повторяла, что было бы грешно позволить старому человеку умереть как какому-нибудь бродяге или нищему, не исполнив над ним таинство соборования.

⁸ *Болеро* – испанский и латиноамериканский народный танец и музыка к нему. *Кумбия* – колумбийский народный танец, который в изначальной версии исполняют с зажженной свечой в руке. *Ранчера* – жанр народных мексиканских песен о любви, родине и природе.

В один прекрасный день я стала свидетельницей того, как пришедшему в обычное время пастору-протестанту открыла дверь одна из служанок, на которой было лишь нижнее белье: день, видите ли, выдался слишком жаркий. Я поняла увиденное так: отсутствие порядка в доме и всеобщая безалаберность достигли своего апогея, и мне тоже нет смысла ни бояться хозяина, ни держаться от него подальше. С того дня я стала навещать его, поначалу робко останавливаясь на пороге его комнаты, но постепенно, шаг за шагом, делая это таинственное помещение своим. Через некоторое время я уже приходила к старому профессору, когда мне хотелось, и делала в его комнате все, что угодно, даже играла прямо у него на кровати. Долгие часы я проводила рядом с полупарализованным стариком, пытаюсь как-то наладить с ним контакт. Со временем я стала сносно понимать его странную речь: смесь моего и его родных языков, превращенную параличом в практически нечленораздельный поток звуков. Когда я оказывалась рядом с профессором, тот, похоже, на время забывал об униженности своего положения и мучительной беспомощности. Я часто снимала со священных стеллажей любимые книги профессора и держала их у него перед глазами. Старик получал возможность читать – это наполняло смыслом его жизнь. Некоторые книги были написаны на латыни, но профессор с удовольствием переводил их мне, и, похоже, как ученица, я его не только устраивала, но даже приводила в восторг. Время от времени он начинал по-старчески ныть и хныкать, жалуясь в полный голос: почему раньше он не замечал моего присутствия. Своих детей у него не было, да и с чужими он, судя по всему, никогда не сталкивался. Дедушкой он оказался просто превосходным, но, к сожалению, открыл в себе это призвание слишком поздно...

– Откуда взялось это существо? – время от времени задавался вопросом старик, выплевывая в воздух плохо пережеванные беззубыми челюстями слова. – Она что, моя дочь, внучка или просто плод моего больного воображения? У нее смуглая кожа, но глаза похожи на мои... Иди сюда, девочка, подойди ближе, я хочу тебя рассмотреть.

Его разум никак не мог связать меня с Консуэло, хотя, несмотря на частичную потерю памяти, он прекрасно помнил ту женщину, которая двадцать лет верно служила ему и удивила его лишь однажды – надувшись, будто дирижабль, не иначе как по причине острого несварения желудка. Он частенько рассказывал мне о ней, и по его словам получалось, что будь она рядом с ним в эти тяжелые минуты, то и последние дни жизни были бы для него не столь мучительны. Нет, она бы точно никогда не предала меня, повторял он.

Я чем могла помогала ему: затыкала уши ватой, когда слуги слишком громко включали радио и дом оглашала низкопробная музыка или очередной радиоспектакль; мыла старика, подкладывала под него сложенные полотенца, чтобы матрас не пропитался мочой; проветривала его комнату и кормила с ложечки кашей – как младенца. Старый профессор с седой бородой был моей куклой. Однажды я услышала, как он сказал пастору, что успел понять в жизни главное: я оказалась для него гораздо важнее, чем все его научные достижения. Порой я обманывала его: говорила, будто на родине его ждет большая и дружная семья, что у него несколько внуков и они любят своего дедушку, а еще – что у него там, в родной стране, есть большой сад, где растет много красивых цветов. В примыкавшей к кабинету библиотеке стояло забальзамированное чучело пумы – один из первых удачных опытов профессора с чудодейственным снадобьем. Я притащила эту зверюгу в его комнату, уложила в изножье кровати и объявила, что это его любимая собака. Разве вы ее не помните? Бедненькая, посмотрите, как она соскурилась. Ей грустно без вас.

– Пастор, я прошу вас указать в моем завещании следующее. Я хочу, чтобы эта девочка стала моей единственной наследницей. Когда я умру, все мое имущество и накопления достанутся ей, – не без труда сумел он донести свою мысль до священника, когда тот в очередной раз явился к нему в заранее оговоренное время, по всей видимости, для того, чтобы разговорами о грядущем бессмертии изводить старика, если не ждавшего смерти, то по крайней мере находившего в ней некоторое изящество и избавление от страданий.

Крестная пристроила мой тюфяк рядом с кроватью умирающего. Как-то раз, проснувшись поутру, я заметила, что он выглядит более бледным, больным и усталым, чем накануне; он отказался от кофе с молоком, но с благодарностью во взгляде позволил умыться себя, расчесать бороду, поменять ночную рубашку и даже опрыскать его одеколоном. До полудня он пролежал неподвижно, глядя в окно и не пытаясь произнести ни слова. В обеденное время отказался от своей обычной еды – жиденькой каши, и я переложила его поудобнее, чтобы он мог вздремнуть. Он попросил меня прилечь рядом. Так мы и лежали молча, бок о бок, часа два, а затем жизнь тихо и незаметно покинула старческое тело.

Ближе к вечеру в доме объявился пастор, который взял на себя организацию похорон и исполнение прочих формальностей. Отправлять останки профессора на родину, с точки зрения святого отца, было бесполезной тратой сил, времени и денег: во-первых, это мероприятие было бы сопряжено с целым рядом проблем, а во-вторых, никто толком не знал, куда именно следует отправить скорбный груз и кто, собственно говоря, будет принимать его в пункте назначения. В общем, в нарушение всех данных профессором устных и письменных распоряжений похоронили его на местном кладбище и без лишних церемоний. На похоронах присутствовали только мы – его слуги и работники; за долгое время добровольного затворничества профессора Джонса публика успела подзабыть его, и никто не соизволил появиться на кладбище, хотя информация о месте и времени похорон была опубликована в прессе. За то время, что профессор, терзаемый болезнью, отошел от своих экспериментов, наука ушла далеко вперед, и теперь если о нем и вспоминали в компании студентов медицинского факультета, то лишь для того, чтобы посмеяться над его методами повышения интеллектуального уровня пациентов путем ударов по голове и попытками лечить рак укусами насекомых-кровососов; в разряд лженаучных достижений заодно попала и технология бальзамирования трупов при помощи консервирующей жидкости.

Стоило скончаться хозяину, как весь привычный мне мир стал рушиться прямо на глазах. Пастор провел инвентаризацию имущества покойного и распорядился им по своему усмотрению: он сумел вполне убедительно доказать, что в последние годы старик окончательно выжил из ума и потерял способность принимать здравые решения. Завещание было признано недействительным, и его имущество перешло в собственность церковной общины. Исключение в итоге было сделано только для той самой пумы; во избежание скандала пастор, несмотря на всю свою жадность, решил не разлучать меня с моей любимой игрушкой. Все знали, как я любила играть с этим чучелом, как изображала наездницу, залезая на пуму верхом, и как убедила профессора, что этот законсервированный труп дикой кошки – его любимая и вполне живая собака. Когда носильщики попытались перетащить пуму в грузовик, увозивший вещи из особняка в церковь, я устроила шумную, разыгранную по всем правилам детскую истерику. Обмануть пастора было не так-то легко, но, когда дело дошло до пены, вылетевшей у меня изо рта, и до безумных криков, благочестивый пресвитер счел за лучшее уступить. Впрочем, предполагаю, что я добилась своего с такой легкостью лишь потому, что потертое чучело пумы вряд ли представляло какую-либо ценность для кого бы то ни было. Дом, кстати, тоже не удалось продать – покупателей на особняк, над которым витало проклятие зловещих экспериментов профессора Джонса, не нашлось. Постепенно разрушаясь, дом пребывает в запустении и по сей день. Иногда в него забираются на ночь окрестные мальчишки, для которых это становится своего рода доказательством взросления и возмужания. Полагаю, что с непривычки человек может почувствовать себя в этом здании неуютно: в коридорах гуляет ветер, скрипят незакрывающиеся двери, повсюду шныряют крысы и слышатся стоны душ тех людей, которые стараниями родственников и мастерством профессора так и не были погребены по-человечески. Сами же мумии были вывезены из лаборатории в один из подвалов медицинского факультета, где и провалялись, никому не нужные, в полном беспорядке много лет, до тех пор пока совершенно неожиданно не возобновилась мода на бальзамирование покойников и студенты

не решили попробовать восстановить секретную формулу консерванта, разработанную профессором. Каждый пытливый и предприимчивый студент считал своим долгом отщипнуть от какой-нибудь бесхозной мумии несколько кусочков, чтобы распахать их по разным колбам, пробиркам и приборам. В конце концов то, что осталось от несчастных покойников, стало напоминать некий чудовищный полуфабрикат из человеческого мяса с костями.

Пастор попрощался со слугами и закрыл двери особняка. В тот день я покинула место, где родилась и откуда практически не выходила; вместе с крестной мы уходили из дома профессора, унося с собой лишь забальзамированную пуму: я тащила чучело за задние лапы, а крестная держала за передние.

– Ну все, ты уже взрослая, и я больше не могу кормить и содержать тебя. Пора пристраивать тебя на работу. Будешь сама зарабатывать себе на жизнь и наберешься сил, как и подобает детям, – сказала мне крестная.

Незадолго до этого мне исполнилось семь лет.

Крестная дожидается решения моей участи на кухне; она сидит на плетеном стуле – прямая спина, на коленях пластиковый пакет с каким-то рисунком, половина бюста дерзко торчит из выреза блузы, увесистые бедра свисают аж по обе стороны сиденья. Я стою рядом с ней и украдкой осматриваю незнакомое помещение: кастрюли, сковородки, ржавый холодильник, спрятавшихся под столом кошек, буфет с застекленными дверцами, засиженными мухами. Мы покинули дом профессора Джонса не далее как два дня назад, и я еще не пришла в себя от пережитого потрясения. Как только за нами захлопнулись ворота, я впала в какое-то мрачное, подавленное состояние. Я все время молчала – мне не хотелось ни с кем говорить. Я забираюсь в какой-нибудь тихий угол, садились на пол и закрывала лицо руками. В эти минуты ко мне являлась мама, верная своему обещанию оставаться живой до тех пор, пока я ее помню. Здесь, в этой незнакомой кухне, всем заправляла строгая, худая, словно высохшая, негритянка, посматривавшая на нас несколько недоверчиво.

– Эта девочка – ваша дочь? – спросила она.

– Да вы что, какая же она мне дочь, вы на цвет ее кожи посмотрите, – возразила крестная.

– А чья же она и кем вам приходится?

– Она моя крестница. Я привела ее, чтобы нашли ей работу.

Открылась дверь, ведущая внутрь дома, и в кухню вошла хозяйка – женщина невысокого роста, с сухими, завитыми в мелкие кудряшки волосами; одета она была в траурное платье, на котором выделялся крупный позолоченный медальон, размерами напоминавший почетный знак, полагающийся послу какой-нибудь иностранной державы.

– Иди сюда, дай я на тебя посмотрю, – приказала мне хозяйка; я осталась на месте, ноги словно приросли к полу. Крестной пришлось хорошенько подтолкнуть меня, чтобы я преодолела несколько шагов до хозяйки. Та внимательно меня оглядела, осмотрела волосы на предмет отсутствия вшей, ногти – явно выискивая на них поперечные полоски, свойственные, как считается, людям, склонным к эпилепсии, зубы, уши, кожу на лице и шее и проверила, насколько крепкие у меня руки и ноги. – Глисты есть?

– Нет, сеньора, она чиста – чиста внутри и снаружи.

– Что-то худенькая.

– Да вот, понимаете ли, в последнее время у нее почему-то аппетит пропал, но вы не волнуйтесь, работает она усердно. А вообще она девочка сообразительная, все просто на лету схватывает и не по годам рассудительна.

– Плачет часто?

– Она не заплакала, даже когда хоронили ее мать, мир ее праху.

– Пусть остается на месяц – испытательный срок, – огласила хозяйка свое решение и вышла из кухни, даже не попрощавшись.

Крестная на прощание дала мне последние указания: не дерзи, не будь упрямой, будь осторожна с хрупкими вещами, не пей воду вечером, чтобы не писаться в постель, веди себя хорошо и слушайся старших, то есть делай все, что тебе прикажут.

Она потянулась было ко мне, чтобы поцеловать, но почему-то передумала и ограничилась лишь тем, что неловко, словно смущаясь, потрепала меня по голове. Вслед за этим она развернулась и твердым шагом вышла из кухни через дверь для прислуги. Несмотря на то что ее лица я не видела, мне почему-то показалось, что крестной грустно. Мы ведь всегда, всю мою жизнь, были вместе и в тот день расставались впервые. Я осталась стоять, где стояла, неподвижно глядя в стену перед собой. Кухарка нарезала несколько бананов, обжарила их, затем положила руки мне на плечи, подвела к столу, усадила на стул и села рядом. Только сейчас я обратила внимание: все это время она улыбалась.

– Ну, значит, ты у нас новая служанка... Ладно, птенчик, поешь пока. – С этими словами она поставила передо мной тарелку. – Меня зовут Эльвира, родилась я на побережье двадцать девятого числа мая месяца, в воскресенье дело было, вот только в каком году – запамтовала. Всю жизнь, сколько себя помню, я только и делала, что работала, работала и работала. Чует мое сердце, что и тебя ждет такая же судьба. Ничего другого для нас с тобой еще не придумали. Я, конечно, не подарок, есть у меня свои привычки и странности, но мне почему-то кажется, что мы с тобой поладим. Вообще-то, я всегда о внучке мечтала, да куда там, видно, Богу было угодно, чтобы у меня не то что детей и внуков, но и мужа-то никогда не было.

С того дня моя жизнь полностью изменилась. Дом, в который меня пристроили на работу, был битком набит мебелью, картинами, какими-то статуэтками и вазами на мраморных консолях с декоративным папоротником; впрочем, все эти украшения не могли скрыть вонь из старых водопроводных труб, пятна сырости на стенах, многолетние слои пыли под кроватями и за шкафами. Здесь мне все казалось запущенным, неопрятным и грязным – ничего общего с особняком профессора Джонса, который сверкал чистотой вплоть до того дня, когда у старика случился удар, частично парализовавший его и помутивший рассудок. До этого времени он зачастую, проверяя работу прислуги, опускался на колени, заглядывал в самые темные углы и проводил пальцем по полу, чтобы удостовериться, достаточно ли хорошо проведена очередная уборка. Здесь же все время пахло гнилыми дынями, а кроме того, несмотря на то что все окна были прикрыты жалюзи, всегда было невыносимо жарко. Хозяевами этого дома были уже немолодые брат с сестрой, не удосужившиеся обзавестись собственными семьями. Хозяйку я увидела в первый же день – это и была та женщина в черном, с большим медальоном, а с хозяином познакомилась чуть позже. Ему было лет шестьдесят, он страдал избыточным весом, а самой приметной деталью его внешности был огромный рыхлый нос, весь в крупных порах, следах от прыщей и покрытый, словно татуировкой, узором синих сосудов. Эльвира рассказала мне, что хозяйка большую часть жизни проработала секретарем у нотариуса; целыми днями она молча переписывала какие-то бумаги и копила нереализованное желание кричать и отдавать распоряжения, вместо того чтобы выполнять их. Теперь, когда она вышла на пенсию, у нее появилась возможность наконец сорвать накопившуюся злость на мир и на самое себя. Целыми днями она отдавала приказы прислуге, хрипло ругалась на всех и всюду тыкала длинным, словно протыкающим человека насквозь, указательным пальцем. Ее стремление карать всех и вся за любые реальные или мнимые проступки было ненасытным. Ее брат в управление хозяйством не вмешивался. В течение дня его занятия сводились к чтению газеты и бюллетеня с информацией о скачках. Кроме того, он, естественно, что-то пил, дремал в кресле-качалке и время от времени прогуливался, шаркая шлепанцами по галерее, выходящей во внутренний дворик, – одетый в пижаму, останавливаясь, чтобы почесать в паху. Ближе к вечеру он сбрасывал с себя оковы дневной дремоты, одевался и шел в какое-нибудь кафе поблизости, чтобы сыграть в домино. Один день ничем не отличался от другого, за исключением воскресений, когда хозяин уходил на ипподром, где благополучно проигрывал все, что ему худо-бедно уда-

валось выиграть за неделю. Кроме хозяев и нас с Эльвирой, в доме жила еще одна служанка – женщина крупная, с широкой костью и куриными мозгами; она работала не покладая рук, от зари до зари, а на время сиесты удалялась в спальню холостяка-хозяина; эту компанию дополняли кошки и мрачный, изрядно облезлый попугай, не умевший говорить.

Хозяйка приказала Эльвире хорошенько вымыть меня дезинфицирующим мылом и сжечь всю одежду, в которой меня привели в дом. В те времена всю прислугу при приеме на работу было принято стричь наголо, чтобы в доме не завелись вши; от этой печальной участи меня, как ни странно, спас брат хозяйки. Этот человек с носом-сливой частенько улыбался мне, никогда на меня не кричал и, по правде говоря, был мне симпатичен даже в те моменты, когда бывал сильно пьян. Увидев страх и тоску в моих глазах, когда у меня над головой сверкнули ножницы, он сжалился и разрешил оставить шевелюру в том виде, в какой привела ее еще моя мать, так любившая подолгу меня причесывать. Странное дело, имя этого человека почему-то начисто стерлось из моей памяти... В том доме я носила в качестве служебной униформы передник, собственноручно сшитый хозяйкой на швейной машинке. Обувь мне не полагалась, и я ходила по дому босиком. По окончании испытательного срока мне объявили, что теперь я буду работать еще больше, потому что мне будут платить зарплату. Этих денег я, разумеется, и не видела – каждые две недели их забирала у хозяйки крестная. Поначалу я с нетерпением ждала ее и буквально вцеплялась в ее юбку, умоляя забрать меня с собой, но со временем я пообвыкалась в новом доме, привыкла к установленному здесь порядку, привязалась к Эльвире и подружилась с кошками и попугаем. Хозяйке категорически не понравилось, что я время от времени говорю с покойной мамой и делаю это вслух. Чтобы отучить меня от этой вредной, с ее точки зрения, привычки, она вымыла мне рот с содой, ободрав губы в кровь. Урок я усвоила и с тех пор говорила с мамой либо про себя, либо когда рядом никого не было. В том доме, похожем на оставленную на вечной стоянке каравеллу, всегда находилась какая-нибудь работа. Сколько я ни драила ее палубы и трапы шваброй, веником и щетками, победить всепроникающую сырость и ползущую по стенам и полу плесень мне так и не удалось. Кормили меня не слишком разнообразно и не сказать чтобы досыта. Впрочем, назвать мое существование жизнью впроголодь тоже было бы не совсем справедливо: Эльвира как могла старалась подбодрить и подкормить меня; все, что не доедали хозяева, она уносила на кухню, прятала в буфет и в буквальном смысле слова скармливала мне эти объедки-деликатесы по утрам. Как-то раз она услышала по радио, что начинать день сытым, на полный желудок очень полезно для здоровья. Она смотрела, как я уплетаю свой «усиленный» завтрак, и говорила негромко: ешь, ешь, пусть это тебе пойдет на пользу. Самое главное, чтобы голова в сытости была, – глядишь, девочка, станешь умной и со временем даже в школе учиться сможешь. От старой хозяйки и ее бесконечных распоряжений деваться было некуда: она всюду совала свой нос. Сегодня, говорила она, вымоешь патио с креолином и не забудь погладить скатерти и салфетки. Смотри у меня, осторожнее, не сожги их. Да, и еще помоешь окна водой с уксусом и протрешь их старыми газетами. Когда все закончишь, придешь ко мне, и я покажу тебе, как правильно чистить ботинки хозяина. Я кивала и приступала к работе; впрочем, очень скоро я поумерила свой пыл и поняла, что если не часто попадаться на глаза хозяйке и отлынивать от работы, проявляя определенную бдительность, то можно чуть ли не весь день ничего не делать, практически не рискуя нарваться на неприятности. Обычно хозяйка просыпалась на рассвете, и буквально через несколько минут после этого по дому разносился ее трескучий голос, отдававший приказания. Вскоре появлялась и она сама – в неизменном черном платье, все с тем же медальоном и всегда с одной и той же прической, довольно трудной для поддержания в должном виде. Несмотря на всю ее внешнюю строгость, я вскоре поняла, что пожилая женщина путается в собственных распоряжениях и обмануть ее не составляет особого труда. Хозяин и вовсе мало интересовался домашними делами: его жизнь целиком и полностью была посвящена бегам и

скачкам. Он изучал родословные лошадей, участвовавших в забегах, пытался овладеть основами теории вероятности и много пил, чтобы обрести утешение после очередной неудачной ставки. Иногда его нос приобретал цвет и форму баклажана; в таких случаях он звал меня, чтобы я помогла ему раздеться и лечь в кровать, а заодно и спрятала бы пустые бутылки. В остальном я его не слишком интересовала. Вторая служанка вообще мало общалась с людьми, а меня, похоже, и вовсе не замечала. Интерес к моей персоне и, более того, искреннюю заботу проявляла только Эльвира. Она кормила меня, учила делать ту или иную работу и выполняла вместо меня самые трудные поручения. Когда я помогала ей на кухне, мы подолгу болтали и рассказывали друг другу истории. Примерно в это время у Эльвиры стала проявляться некоторая, скажем так, эксцентричность в суждениях и отдельные навязчивые идеи. Так, например, она вспылала иррациональной, ничем не вызванной ненавистью к иностранцам-блондинам и одновременно... к тараканам. С последними она боролась, используя весь арсенал, имеющийся в ее распоряжении, начиная с извести и заканчивая всегда находившимся под рукой веником. В то же время, узнав, что я прикармливаю живших под домом мышек и стерегу гнездо с мышатами, чтобы их не сожрали кошки, она не только не стала ругать и наказывать меня, но и, похоже, была готова всячески поддерживать мою затею. Кроме всего прочего, она страшно боялась умереть в нищете, всеми забытой. Больше всего ее пугала перспектива оказаться похороненной в общей могиле. Чтобы избежать этого посмертного унижения, она заранее заказала себе гроб, расплачиваться за который ей пришлось в рассрочку. Пока не настало время использовать гроб по назначению, она поставила этот ящик из простых строганых досок, пропахший столярным клеем, обитый изнутри белым сатином с голубенькими ленточками, у себя в комнате и приспособилась пользоваться им как комодом, в котором хранила свое тряпье и прочие пожитки. Время от времени мы с Эльвирой играли в странную игру: мне оказывалась высокая честь залезть в специально расчищенный по такому случаю гроб и, воспользовавшись прилагавшейся к нему маленькой подушечкой, полежать в этом ящике в полной темноте – под закрытой крышкой. Эльвира тем временем вполне убедительно изображала безутешные рыдания и причитания. Между всхлипываниями она перечисляла мои гипотетические добродетели и то и дело обращалась к Небесам сначала с вопросом, зачем, мол, у меня забрали такую хорошенькую, такую послушную, чистенькую и умненькую девочку, которую я любила, словно родную внучку, а затем с настойчивой просьбой сотворить чудо: мол, верни мне ее, Господи Боже мой, и все тут. Эта игра продолжалась до тех пор, пока служанка в соседней комнате не выходила из себя и не начинала по-собачьи подвывать в тон Эльвире.

Жизнь в этом доме не отличалась разнообразием: дни шли за днями, похожие один на другой; единственным исключением были четверги. Приближение этого дня я высчитывала по настенному календарю, висевшему в кухне: его я дожидалась чуть ли не всю неделю. По четвергам открывалась решетка садовой калитки и мы шли на рынок. Эльвира обувала меня в резиновые ботинки, повязывала свежий передник, убирала волосы в хвост на затылке и давала одно сентаво, на которое я покупала себе леденец на палочке. Это лакомство было практически неуязвимо для человеческих зубов, и его можно было лизать несколько часов без сколько-нибудь заметного ущерба для общего объема полупрозрачной сахарной массы, раскрашенной в яркие цвета. Мне этого счастья хватало на всю неделю – я с удовольствием сосала леденец перед сном каждый вечер и по несколько раз в день на минуту-другую прикладывалась к нему, чтобы перевести дух между уже сделанной работой и очередной, за которую предстояло взяться. По дороге на рынок хозяйка шла впереди, крепко прижимая к себе сумку с кошельком. Будьте осторожны, не отвлекайтесь и не отходите от меня, наставляла она нас. Учтите, здесь полным-полно карманников. Эти предупреждения мы выслушивали всякий раз, выходя за ворота дома. Хозяйка решительным шагом рассекала рыночную толпу, приглядывалась к выложенным на прилавки товарам, все щупала, пробовала и отчаянно торговалась. Да что это за цены, вопила она на весь рынок, кто позволил драть с покупателя по три шкуры! Да этих

спекулянтов сажать надо, чтобы другим неповадно было. В нашей небольшой процессии я занимала место вслед за служанкой. Мне, как и ей, выдавали по две большие сумки, но их тяжесть не могла перевесить радость от обладания покоившимся в кармане передника леденцом. Я внимательно глядела вокруг, но не для того, чтобы предотвратить покушение на хозяйский кошелек, а просто пытаюсь угадать, кто все эти люди, как они живут, что скрывают от посторонних, какими приключениями и историями наполнена их жизнь. Домой я возвращалась счастливая, с горящими глазами, полная новых впечатлений. Я забежала в кухню и, помогая Эльвире распаковать и разложить покупки, плела ей одну за другой истории про заколдованную морковь и перец: мол, эти овощи, если их бросишь в суп, в один миг превращаются в принцев и принцесс, те – раз-два – выпрыгивают из кастрюль, стряхивая бульон с королевских мантий и вытаскивая веточки петрушки из корон.

– Тсс... хозяйка идет! А ну-ка, быстренько возьми в руки веник, птичка.

В часы сиесты, когда в доме царили тишина и покой, я на время бросала работу и пробиралась в столовую, где на стене висела большая картина в позолоченной раме – окно, распахнутое навстречу морскому горизонту, волнам, скалам, пасмурному небу и чайкам. Я вставала перед картиной, заложив руки за спину, и не отрываясь смотрела на морской пейзаж. Мысленно я уносилась прочь из дому, путешествовала по морям и океанам, где встречала сирен и дельфинов, представление о которых почерпнула не то из маминых сказок, не то из книг профессора Джонса. Мама вообще постоянно мне о чем-то рассказывала и придумывала разные истории; больше всего мне нравились те, в которых говорилось о море: я живо представляла себе далекие острова, огромные города, погрузившиеся в морскую пучину, течения – дороги, по которым держат свой путь невиданные рыбы. Я уверена, что в роду у нас были моряки, заверяла меня мама всякий раз, когда я просила ее рассказать очередную сказку про далекие моря. Именно поэтому у нас в конце концов и появилось семейное предание о дедушке-голландце. Стоя перед этой картиной, я чувствовала себя так же, как тогда, когда слушала мамин рассказы или же помогала ей в мрачной лаборатории профессора. Я всегда старалась держаться как можно ближе к маме и постоянно чувствовала исходящий от нее слабый запах влажной тряпки, щелока и крахмала.

– Что это ты тут делаешь?! – напускалась на меня хозяйка, застав в столовой. – Тебе что, заняться нечем? Эта картина не для таких, как ты!

Не знаю, хотела ли хозяйка унижить меня этими словами, но я сделала из них совершенно определенный вывод: по-видимому, картина каким-то образом расходует или тратится, когда на нее смотрят. Чем больше людей будут на нее смотреть, тем быстрее краски поблекнут и вообще сотрутся.

– Да что ты, детка, ничего с картинами не будет оттого, что на них смотрят. И как только тебе в голову пришла такая глупость. Иди-ка сюда, поцелуй меня в нос, и я разрешу тебе смотреть на это море сколько хочешь, а поцелуешь еще раз – и я дам тебе монетку. Только не говори моей сестре, а то она нас с тобой не поймет. Ну что, не противно целовать такой нос? – С этими словами хозяин прятался вместе со мной за вазу с папоротником, чтобы втайне от сестры получить от меня невинную ласку.

На ночь мне подвешивали в кухне гамак, но почти каждый вечер, как только все ложились спать, я пробиралась в комнату для прислуги и влезала на старую полуразвалившуюся кровать, которую делили спавшие влетом служанка и кухарка. Я ложилась под бок к Эльвире и говорила, что если она разрешит мне остаться, то я расскажу ей сказку.

– Ну хорошо, расскажи мне ту сказку, где человек потерял голову от любви.

– Ой, я ее совсем забыла, но ничего, я уже другую придумала – про зверей.

– Ну и ну, похоже, у твоей матери, когда она ждала тебя, было слишком много жидкости в животе, вот и получилось, что сказки из тебя просто рекой льются, птенчик.

Я хорошо запомнила тот день: шел дождь и в доме сильнее, чем обычно, пахло гнилыми дынями и кошками; влага, проникавшая с улицы, усиливала вонь. Ощущение было такое, будто запах можно потрогать руками. Я стояла посреди столовой, и мысли мои были далеко – где-то в неизвестном море. Я не услышала, как в комнату вошла хозяйка, и поняла, что происходит, лишь когда та мертвой хваткой вцепилась мне сзади в шею. Возвращение из далекого путешествия оказалось мгновенным и отнюдь не самым приятным. На миг я чуть было не потеряла сознание, не понимая толком, где нахожусь и что должна говорить и делать.

– Опять ты здесь? А ну, быстро за работу! Думаешь, я тебе просто так деньги платить буду?

– Я уже все сделала, сеньора...

Хозяйка в ответ на мои слова молча взяла стоявший на комодке кувшин и перевернула его, вылив на пол грязную воду вместе с увядшими цветами.

– Убери, – приказала она.

Исчезли море, подернутые дымкой скалы, а вместе с ними цепочка моих воспоминаний и даже мебель, стоявшая в столовой. Перед моими глазами остались только те самые цветы на дощатом полу, которые словно набухали, шевелились, наполнялись новой жизнью, а еще женщина с вечным медальоном на шее и целой башней кудряшек и завитков на голове. У меня внутри все сжалось, и, задыхаясь, я вдруг почувствовала, что накопившаяся обида и злость вырываются из меня в виде отчаянного крика, обрушивающегося на бледное, словно покрытое слоем пыли, лицо хозяйки. Ее пощечина не причинила мне ни малейшей боли, потому что гнев еще раньше оглушил меня и притупил все чувства. Не отдавая отчета в своих действиях, я бросилась вперед, намереваясь, по всей видимости, вцепиться старухе в лицо, повалить ее на пол и таскать, таскать за волосы, пока хватит сил. Совершенно неожиданно этот столб завитушек подался под моими руками, сполз куда-то на сторону, а в следующую секунду вся масса сухих, шершавых и пропахших чем-то кислым волос осталась у меня в руках, словно тушка дохлого сунса. Я с ужасом поняла, что сняла с хозяйки скальп. По крайней мере в тот момент ничего другого я подумать не могла. Я пулей выскочила из столовой, пронеслась через весь дом, выбежала в сад и, не зная, куда теперь деваться, помчалась на улицу. Уже через несколько мгновений я насквозь промокла под летним дождем. Почувствовав, как вода стекает по телу, я остановилась и посмотрела на столь неожиданно доставшийся мне лохматый трофей. Что с ним делать дальше, я понятия не имела. Я лишь разжала кулак, и парик упал на край тротуара, откуда вода понесла его в сточную канаву вместе с другим мусором. Несколько минут я шла вслед за этим терпящим бедствие волосатым кораблем, плывущим по воле течения без руля и ветрил. В голову мне лезли только самые невеселые мысли: я поняла, что жизнь моя кончена и что после такого преступления деваться мне некуда – меня все равно везде найдут. Я прошлась по ближайшим кварталам, дошла до той площади, где по четвергам устраивали рынок, и оказалась в другом районе. Дома здесь в час сиесты были тоже закрыты, как и там, где я жила прежде. Я шла куда глаза глядят. Вскоре дождь прекратился, и послеполуденное солнце мгновенно высушило асфальт, на время утопив дома и сады в негустом, но липком тумане. Люди, машины, шум – сильный шум, масса незнакомых мне звуков – стройки, где рычали какие-то огромные, выкрашенные желтой краской механизмы, удары инструментов, скрип тормозов, гудки клаксонов, выкрики уличных торговцев – все это обрушилось на меня. Из уличных кафе доносился запах фританги⁹, дополняемый ароматом какого-то соуса, чуть напоминающего запах стоячего пруда. Я не то поняла, не то почувствовала, что прошло много времени с тех пор, как я убежала из дому, и, наверное, уже наступило время обеда. Мне очень хотелось есть, но денег не было, а спасительный леденец остался дома – во время бегства мне было не до него. Судя по всему, я кружила по городу уже несколько часов. Все, что я видела,

⁹ Фританга – очень жирное latinoамериканское блюдо из рубленого жареного мяса с ливером и овощами.

удивляло, поражало и подавляло меня. В те годы столица, конечно, не была еще тем кошмаром, в который превратилась сегодня, но уже тогда город застраивался бездарно и беспорядочно; он разрастался, словно злокачественная опухоль, порожденная безумной архитектурой; здесь перемешались всевозможные стили и направления, пародии на итальянские мраморные дворцы соседствовали с техасскими ранчо, тюдоровские особняки с высотными зданиями из стекла и стали, жилые дома строились в форме военных кораблей, мавзолеев, японских чайных домиков, альпийских шале и свадебных тортов с гипсовыми парадными лестницами вместо крема. Я была просто ошеломлена.

Ближе к вечеру я вышла на площадь, обсаженную по периметру сейбами – солидными, мрачного вида деревьями, которые, похоже, несли здесь свой бессменный караул еще со времен Войны за независимость¹⁰; в центре площади возвышалась конная статуя Отца Нации, отлитая в бронзе: всадник сжимал в одной руке поводья, а другой поднимал высоко над головой знамя борьбы. Помпезность памятника сводилась на нет униженно толстым слоем голубиного помета и всеобщим пренебрежительным отношением к разочаровавшему свой народ правителю. На углу площади я обратила внимание на небольшую группу людей, собравшуюся вокруг одетого во все белое крестьянина; помимо рубахи и штанов, на нем были простые деревенские сандалии и соломенное сомбреро. Меня заинтересовало, чем этот человек привлек внимание прохожих. Подбравшись поближе, я поняла, что он, оказывается, прямо на ходу сочиняет стихи на предложенную слушателями тему. За несколько мелких монет он мгновенно менял тему и продолжал импровизировать, не прерываясь ни на миг. Я немного послушала его и решила попробовать заняться тем же самым. Побормотав некоторое время себе под нос, я убедилась в том, что, рифмуя слова, легче запомнить любую историю. Она словно начинает танцевать под свою собственную музыку. Я дослушала выступление поэта-импровизатора до конца. Дождавшись, пока он соберет монеты, я отошла в сторонку и еще некоторое время постояла, мысленно подбирая похожие по звучанию пары слов. А что, подумала я, так ведь действительно ничего не забудешь, и если Эльвира захочет, я всегда смогу рассказать ей одну и ту же сказку столько раз, сколько понадобится. Вместе со зрительным образом Эльвиры у меня в памяти всплыли ароматы кухни, и в первую очередь жарящегося на сковороде лука; только в этот момент я и осознала всю безнадежность своего положения и почувствовала, как по спине пробежал холодок. Я вновь увидела уплывающие по сточной канаве волосы хозяйки и отчетливо вспомнила пророчество крестной; ее слова ударами молота отдавались у меня в ушах: плохая, плохая девочка, будешь так себя вести – рано или поздно попадешь в тюрьму. С этого все и начинается: ты не уважаешь старших, не слушаешься их, не успеешь оглянуться – и ты уже за решеткой, это я тебе говорю, смотри у меня, не будешь слушаться – окончишь свои дни в тюремной камере. Я присела на бортик фонтана и стала рассеянно смотреть, как среди чахнувших в неподходящем для них климате водяных лилий снуют красивые разноцветные рыбки.

– Эй, что с тобой? – Возле меня стоял темноглазый мальчишка, одетый в брюки из грубой хлопчатобумажной ткани и в рубашку явно с чужого плеча – слишком уж она ему была велика.

– Меня посадят в тюрьму.

– А сколько тебе лет?

– Девять, что-то около того.

– Тогда никто не имеет права тебя посадить. Ты – несовершеннолетняя.

– Я хозяйке все волосы выдрала.

– Как это у тебя получилось?

– Дернула – вот и все.

Он сел со мной рядом и стал выковыривать грязь из-под ногтей перочинным ножиком, искоса поглядывая на меня.

¹⁰ Война за независимость испанских колоний в Америке происходила в 1808–1826 годах.

- Меня зовут Уберто Наранхо, а тебя?
- Ева Луна. Давай дружить?
- Вот еще, дружить с девчонками. – Но он почему-то не ушел.

До самого вечера мы болтали, демонстрируя друг другу шрамы на теле, делясь самыми важными секретами, пытаясь понять и узнать друг друга. Так началось это знакомство, которое через некоторое время, далеко не сразу, переросло в дружбу, а потом и в любовь.

Уберто Наранхо, сколько он себя помнил, всегда жил на улице – по всей видимости, с тех пор, как научился ходить; начинал он с того, что чистил прохожим ботинки и продавал газеты; довольно быстро он начал проворачивать всякие мелкие и не всегда законные делишки, а иногда и откровенно подворовывал. У него был природный дар соблазнять беспечных и простодушных: я смогла оценить этот талант прямо там, у фонтана на площади. Уберто собрал вокруг нас небольшую толпу прохожих, среди которых были государственные служащие, пенсионеры, поэты и даже несколько полицейских, находившихся на площади для того, чтобы никто из граждан по небрежности, недомыслию или же, наоборот, злему умыслу не проявил неуважения к руководителю государства, решив, например, пересечь площадь перед памятником без пиджака и галстука. Уберто предложил собравшимся пари: он вызвался голыми руками, не залезая в воду, поймать в фонтане одну из рыбок, нашарив ее у скользкого дна между стеблями кувшинок. Внешне все выглядело вполне убедительно, но на самом деле Уберто заранее выловил сеткой одну рыбку и подрезал ей хвост. Несчастная рыбешка теперь могла либо вертеться волчком, либо, затаившись, стоять неподвижно где-нибудь под кувшинкой. Нечего и удивляться, что этого инвалида Уберто выловил на глазах у изумленной публики буквально в два счета. Показав зрителям добычу, он преспокойно собрал с проигравших дань. Другим способом заработать несколько монет была для него игра в наперстки. От играющего требовалось угадать, под каким из наперстков шарик, – их Уберто быстро-быстро передвигал обеими руками по расстеленному на земле гладкому куску кожи. Еще он мог буквально в две секунды снять с прохожего часы и за столь же короткое время «слить» их, то есть сделать так, чтобы добычу при нем ни в коем случае не нашли. Спустя несколько лет он, одетый не то ковбоем, не то мексиканским пастухом, занимался продажей всего, что ему только удавалось раздобыть: от краденых отверток и гаечных ключей до рубашек, которые продавались с огромной скидкой со складов закрывающихся фабрик. К шестнадцати годам он стал главарем целой банды, человеком, которого окружающие уважали и не без основания побаивались; он управлял пусть небольшой, но самой настоящей экономической империей: в его подчинении находилось несколько тележек, с которых торговали жареным арахисом, сосисками и тростниковым соком. Он стал подлинным героем квартала красных фонарей и настоящим кошмаром городской полиции. Так продолжалось до тех пор, пока другая страсть не увела его в горы. Но это было потом, гораздо, гораздо позже. Когда мы с ним встретились, он был еще ребенком, но если бы я присмотрелась к нему повнимательнее, то наверняка уже в те времена увидела бы в нем мужчину – того мужчину, которым он так хотел стать и которым позже стал в полной мере. Уже тогда, в детстве, у него были горячее сердце и сильная воля, подкрепленная не менее сильными кулаками. Мужиком надо быть, говорил Наранхо, настоящим мужиком. Мачо есть мачо. Это была его любимая присказка: все, что так или иначе было связано с его мужскими качествами, представляло для него величайшую ценность; в этом он не слишком отличался от большинства мальчишек, вот только подход к собственной мужественности был у него куда более серьезным и основательным. Так, например, он время от времени измерял длину своего пениса при помощи портновского сантиметра или же методом сравнительного эксперимента подтверждал превосходство своего организма в умении создать самое большое давление в мочеиспускательном канале. Я об этом узнала гораздо позднее, когда сам Наранхо с высоты прожитых лет уже мог позволить себе посмеяться над собственными детскими представлениями о мужественности и наивными, но упорными и, как оказалось, весьма эффектив-

ными попытками стать настоящим мачо. Об измерениях сантиметром он рассказал мне тогда, когда сам с чьих-то слов узнал, что размер мужского достоинства не имеет прямой связи с мерой достоинства подлинного – человеческого, будь то мужского или женского. Впрочем, как бы то ни было, культ мужской силы с детства был краеугольным камнем в системе представлений Уберто о мире, и все, что произошло с ним в последующие годы жизни, все пережитые драки и страсти, все встречи, ссоры и расставания, все мятежи и поражения не смогли заставить его изменить свою точку зрения.

На закате мы отправились на поиски еды; к моему удивлению, Уберто повел меня к одному из ближайших ресторанчиков. Он скрылся за дверью для прислуги, и через пару минут мы уже сидели на тротуаре в глубине узкого переулочка и уплетали свежую, еще дымящуюся пищу, выменянную моим спутником не то у официанта, не то у швейцара на открытку, с которой призывно улыбалась блондинка с пышным, просто вываливающимся из выреза платья бюстом. Утолив голод, мы двинулись в путь по лабиринту дворов и улиц. Время от времени мы перелезали через какие-то заборы и, явно вторгаясь в чужие частные владения, шли дальше – туда, куда меня вел Уберто. Наконец мы оказались у большого гаража. Чтобы не попадаться на глаза толстяку, охранявшему вход, мы залезли в вентиляционную шахту и пробрались в подвал. Здесь, в самом дальнем и темном углу, Уберто соорудил себе что-то вроде гнезда из старых газет и журналов. Как я понимаю, сюда, когда ему не удавалось подыскать более комфортабельное и гостеприимное место, он приходил ночевать. Там мы и устроились на ночлег в первый день нашего знакомства. Всю ночь над нами урчали моторы, наполняя воздух запахом машинного масла и ничем не пахнущей окисью углерода, отчего у меня возникло ощущение, что мы находимся рядом с трубой идущего на всех парах трансокеанского лайнера. Я свернулась калачиком на ложе из газет и, не зная, как расплатиться за внимание и заботу Уберто, предложила рассказать ему сказку.

– Ну валяй, рассказывай, – согласился он, явно сомневаясь в правильности принятого решения; полагаю, до того дня он ни разу в жизни не слышал ничего, что хотя бы отдаленно напоминало сказку.

– Какую тебе рассказать, про кого?

– Про разбойников, – ответил он наугад.

Я покопалась в памяти и, выудив из нее какие-то эпизоды радиоспектаклей и отдельные строчки народных песен, перемешала все это с ингредиентами собственного приготовления; много времени у меня это не заняло, и вскоре я уже начала свое повествование, посвященное благочестивой девушке, влюбленной в бандита, настоящего разбойника с большой дороги, сущего шакала, который предпочитал решать любые, даже самые незначительные споры с помощью ножа и пистолета. Немало вдов и сирот появилось в тех местах, где он разбойничал. Любившая его девушка не теряла надежды утихомирить буйный нрав разбойника своей страстью, преданностью и добрым характером; пока он творил свои черные дела, она собирала в своем доме тех самых детей, которые остались сиротами из-за его пистолетов, ненасытно жаждавших смерти. Время от времени разбойник возвращался домой, и его появление было сродни стихийному бедствию: распахнув дверь ударом ноги, он вваливался в комнаты, стреляя в потолок из обоих пистолетов. Девушка бросалась к нему, вставала на колени и умоляла раскаяться в содеянных грехах, но он лишь смеялся над ней, изрыгая при этом такие ругательства, что от них вздрагивали стены и стыла кровь в жилах. Как дела, красавица? – спрашивал он у своей подружки. Как детишки поживают? Дети при его появлении прятались по всему дому. Разбойник подходил к шкафу и вытаскивал за уши тех, кто, притаившись за одеждой, пытался спрятаться от него. Смерив дрожащих детей взглядом, он смеялся и говорил: ну-ну, я смотрю, они уже здорово подросли, но ты не беспокойся; если тебе нравятся совсем маленькие, я тебе их раздобуду в мгновение ока. Сейчас только схожу в деревню, и будет у тебя в коллекции еще

парочка осиротевших ребятишек. Так шел год за годом, и девушке приходилось работать не покладая рук, потому что сирот в доме становилось все больше и их нужно было чем-то кормить. В конце концов, устав от такой жизни и поняв, что ждать раскаяния от закоренелого злодея бесполезно, она решила, что настало время изменить свою судьбу. Для этого ей пришлось сбросить с себя внешнее благочестие: она сделала завивку, купила красное платье и превратила дом в такое место, где всегда праздник и веселье. Там подавали самое вкусное мороженое и сладкое молоко, там можно было играть в разные игры, танцевать и петь в свое удовольствие. Ее приемные дети помогали ей обслуживать клиентов: это им было не в тягость, а в радость. Нужде, мучившей несчастную девушку с самой юности, пришел конец, она была так счастлива, что почти позабыла оставшиеся в прошлом страдания и мучения. В общем, все шло хорошо, но в конце концов слухи о новой жизни девушки докатились и до разбойничавшего где-то далеко от дому шакала. Он разозлился и решил, что пора навести порядок в собственном доме; как-то раз под вечер он появился на пороге, как всегда чуть было не выломав дверь и несколько раз выстрелив в потолок. Ну, как поживают детишки? – поинтересовался он по привычке, но в следующую секунду понял, что в доме все изменилось. Никто не задрожал при его появлении, никто не стал прятаться по шкафам, да и любимая девушка не бросилась ему в ноги, моля о сострадании и великодушии. Не обращая на него внимания, все продолжали заниматься своими делами: кто подавал посетителям мороженое, кто бил в барабан, а сама девушка танцевала мамбо прямо на столе; на голове у нее было роскошное сомбреро, украшенное тропическими фруктами. Униженный и обиженный, разбойник развернулся и ушел со своими пистолетами искать себе другую невесту – такую, которая всегда боялась бы его и дрожала бы при его появлении. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец.

Уберто Наранхо дослушал сказку до конца.

– Какая-то дурацкая история... Ну ладно, согласен, давай дружить, – сказал он.

Пару дней мы вместе бродили по городу. Уберто продемонстрировал мне все преимущества уличной жизни и научил кое-каким приемам и способам выживания: держись подальше от полиции и любых представителей власти – если схватят, пиши пропало, так поймеют, что мало не покажется; когда ворует в автобусе, забирайся на заднюю площадку и залезай в карман только в тот момент, когда на остановке откроется дверь; чуть что не так – выскакивай и беги куда глаза глядят; поутру лучшую еду можно найти в отбросах, которые выносят с Центрального рынка, а после обеда – на помойках у гостиниц и ресторанов. Я как зачарованная следовала за ним, опьяненная впервые в жизни познанным чувством свободы: это ощущение полета, сопровождаемое постоянной угрозой если не для жизни, то уж по меньшей мере для комфорта и покоя, привело меня в восторг. Я и сейчас отчетливо помню, как чувствовала себя в те первые дни свободной жизни: я тогда словно пробудилась от долгого и глубокого сна. И все же – кажется, на третий день, – укладываясь спать под открытым небом, уставшая и грязная, я вдруг почувствовала, что скучаю по утраченному. Сначала я вспомнила об Эльвире и чуть не разревелась, поняв, что не могу вернуться на место, где совершила ужасное преступление. Потом у меня в воображении всплыл образ мамы, и мне страшно захотелось снова поиграть ее тугой косой и посидеть верхом на чучеле пумы. Немного подумав и попереживав, я все же попросила Уберто Наранхо помочь мне разыскать крестную.

– Это еще зачем? Тебе что, плохо здесь живется? Дура ты все-таки.

Я сочла за лучшее не пускаться в подробные объяснения на предмет того, зачем мне все это нужно; тем не менее мне удалось настоять на своем, и в конце концов Уберто согласился помочь, предупредив, однако, что я буду жалеть об этом поступке до конца своих дней. Город он знал как свои пять пальцев и мгновенно перемещался из одного района в другой, прилепляясь к подножке или заднему бамперу автобусов. Мои невнятные, весьма приблизительные подсказки, помноженные на его умение ориентироваться, привели нас на один из холмов, склоны которого были почти сплошь покрыты мозаикой крыш. Здесь, в этих жалких лачугах, жила

городская беднота. Жилища возводились из того, что оказывалось под рукой, – отходов стройматериалов, картонных коробок, листов оцинкованной жести, старых кирпичей и выброшенных на свалку покрышек. В общем-то, этот район ничем не отличался от многих других, но я узнала это место по открывающейся с вершины холма панораме свалки, протянувшейся вдоль обрывистого склона и давно заполнившей все овраги и ложбины его подножия. К свалке один за другим подъезжали самосвалы с мусором; они блестели на солнце и переливались синезеленым светом, напоминая ползающих по земле жуков или мух.

– Вон, вон дом крестной! – закричала я, заметив издалика выкрашенные в густо-синий цвет доски.

На самом деле бывала я в доме крестной от силы пару раз, но запомнила его очень хорошо: ведь ничего другого, хоть как-то напоминающего собственный кров и очаг, у меня не было.

Нужный нам дом оказался закрыт, но соседка с противоположной стороны улицы сказала, чтобы мы подождали крестную, которая вроде бы пошла в магазин и должна скоро вернуться. Настал момент прощаться: Уберто Наранхо, покраснев до корней волос, протянул мне руку. Воспользовавшись этим, я бросилась ему на шею. В последний момент он раскусил мой коварный план и резко оттолкнул меня, так что я едва удержалась на ногах. Из последних сил цепляясь за него, я все-таки сумела запечатлеть поцелуй на его физиономии. Целилась я, конечно, ему в губы, но в итоге угодила в переносицу. Такого унижения Уберто вынести не смог: развернувшись, он трусцой побежал по склону холма и ни разу не оглянулся. Проводив его взглядом, я села на пороге и стала петь.

Крестную действительно не пришлось долго ждать. Я увидела, как она поднимается по петляющей по склону холма улице с пакетом в руках. Идти по ведущей вверх дороге, и к тому же с грузом, было для нее делом нелегким. Пот лился с нее ручьем, тем не менее она, как всегда, вышагивала гордо и уверенно, держа безукоризненную осанку и умудряясь при этом не без грации покачивать бедрами. Одета она была в платье лимонного цвета. Я завизжала от радости и бросилась ей на шею; объяснять крестной, что произошло, мне не пришлось: как я очень быстро поняла, ее уже успели известить о моем побеге и о предшествовавшем ему чудовищном оскорблении, нанесенном хозяйке. Одним движением руки крестная подняла меня в воздух и даже не втокнула, а попросту швырнула внутрь дома. Контраст между ярким солнечным днем и почти полной темнотой в помещении оказался столь сильным, что я на какое-то время практически ослепла. Прийти в себя я толком не успела: увесистая оплеуха крестной заставила меня перелететь через всю комнату и рухнуть у противоположной стены. Крестная лупила меня до тех пор, пока на мой крик не сбегались соседи. Когда она успокоилась, к моим синякам приложили компрессы с солью.

Через четыре дня меня вновь отвели на старое рабочее место. Мужчина с носом-сливой ласково потрепал меня по щеке и, воспользовавшись мгновением, когда женщины были заняты разговором, вполголоса сообщил, что рад меня видеть и что скучал без меня. Хозяйка, все с тем же медальоном на шее, встретила меня в гостиной, сидя на стуле; выглядела она при этом ни дать ни взять как судья, готовый вынести смертный приговор. Впрочем, мне показалось, что, несмотря на всю ее мрачность и серьезность, она за время моего отсутствия успела заметно съежиться и превратиться в подобие старой тряпичной куклы, наряженной в траурное платье. К моему удивлению, ее голова не была замотана в окровавленные бинты, как я того ожидала. На месте вырванных волос красовалась новая грудка завитушек и кудряшек – немного другая по форме, совершенно другого цвета, но тем не менее целая и невредимая. Я как зачарованная смотрела на прическу хозяйки, пытаясь подыскать хоть какое-нибудь разумное объяснение такому чуду. При этом я совершенно не обращала внимания ни на гневную воспитательную речь хозяйки, ни на щипки, которыми то и дело меня донимала крестная. В памяти у меня отложилось лишь то, что касалось моей судьбы непосредственно: с этого дня я должна была

работать вдвое больше, чтобы у меня не оставалось времени, которое можно было бы бесцельно тратить на созерцание произведений искусства; кроме того, решетка садовой калитки будет постоянно закрыта на ключ, чтобы я вдруг снова не сбежала.

– Ничего, я ее научу хорошим манерам, – заверила хозяйка.

– Подзатыльник и розга кого хочешь уму-разуму научат, – поддакнула крестная.

– Когда я к тебе обращаюсь, смотри в пол перед собой, – потребовала хозяйка. – Ты меня слышишь, соплячка? Глаза у тебя просто бесовские, мне в них и смотреть-то противно. Но я тебя дерзить отучу, ясно?

Я посмотрела ей в глаза не мигая, затем так же, не опуская головы, развернулась и пошла на кухню, где меня уже поджидала Эльвира, подслушивавшая разговор в гостиной из-за двери.

– Ах ты, птенчик мой... Бедная девочка, иди сюда, сейчас мы тебе примочки на синяки сделаем. Да у тебя кости-то хоть целы?

Хозяйка больше не кричала на меня и не стала обращаться хуже, чем раньше; более того, она ни разу не напомнила мне о вырванных волосах. В конце концов я поняла, что тот случай по молчаливому согласию было решено считать чем-то вроде кошмара, просочившегося через какую-то щель в полу. И вдобавок мне больше не запрещали смотреть на картину. Скорее всего, хозяйка пошла на это, понимая, что, даже если меня разрезать на куски, я не отступлюсь от своего. Этот морской пейзаж с прибоем и неподвижно застывшими в сером небе чайками стал для меня не просто картиной – он был моей наградой за тяжелый рабочий день, моей дверью в мир свободы. В час сиесты, когда все в доме ложились отдохнуть, я без всякого на то позволения и никому ничего не объясняя, совершала некий священный обряд: мыла лицо и руки, причесывалась, расправляла передник, обувалась в свои выходные сандалии и шла в столовую. За это завоеванное право, за эту привилегию я готова была сражаться с кем угодно до победного конца. Я ставила стул на середину комнаты и садилась лицом к окну в мой сказочный мир. Я сидела с прямой спиной, ноги вместе, руки на коленях – ни дать ни взять примерная девочка на мессе. Начиналось мое ежедневное путешествие по бескрайним морям и далеким странам. Иногда я замечала, что хозяйка наблюдает за мной с порога столовой; при этом она ни разу не сказала мне ни слова. Похоже, она действительно стала побаиваться меня.

– Вот так-то, молодец, ты все правильно делаешь, птичка моя, – подбадривала меня Эльвира. – Нужно уметь постоять за себя. Сама знаешь – смелую собаку никто не тронет, а трусливую каждый, кому не лень, гоняет. Надо уметь бороться, добиваться своего.

Это был лучший совет, который мне дали за всю мою жизнь. Эльвира тем временем слегка обжаривала лимоны на углях, резала их на четвертинки, какое-то время варила, а затем давала мне эту микстуру, которая, по ее твердому убеждению, была лучшим средством, чтобы пробудить в человеке храбрость.

Я проработала в доме брата и сестры несколько лет. За это время в стране многое изменилось. Об этом я узнавала от Эльвиры. После короткого периода каких-никаких республиканских свобод к власти вновь пришел диктатор. Им оказался один из военных, настолько бесцветный и заурядный на вид, что никому и в голову бы не пришло заподозрить в нем столь неумную жадность власти. Впрочем, самым могущественным человеком того режима был даже не сам Генерал, а начальник политической полиции, которого в народе прозвали Человеком с Гарденией; у него были безупречные манеры, он всегда был идеально причесан и набриолинен, носил только отлично сшитые белые льняные костюмы с неизменным бутоном в петлице, пользовался французским одеколоном, делал маникюр и покрывал ногти лаком. Никто и никогда не замечал в нем ни малейшей вульгарности. Несмотря на слухи, распускавшиеся его врагами, завистниками и просто недоброжелателями, глава политического сыска вовсе не был пассивным педерастом. Даже лично присутствуя при пытках заключенных, он никогда не терял своей элегантности. Кроме того, он всегда был крайне вежлив со всеми, включая подозревае-

мых и заключенных. При нем была перестроена в соответствии с современными требованиями тюрьма Святой Марии – мрачный форт на острове посреди реки, кишашей кайманами и пираньями, в дебрях сельвы. И к политзаключенным, и к обычным преступникам в этой тюрьме относились с одинаковой жестокостью. Мало кто из узников, оказавшихся там, возвращался обратно; большая часть их задолго до окончания срока заключения погибала от голода, тропических болезней или же издевательств и избиений со стороны тюремной охраны. Эльвира часто упоминала об этом в разговорах, а узнавала «неофициальные» новости на рынке и от знакомых в выходные дни; естественно, по радио ни о чем таком не говорили и в газетах не писали. Я очень привязалась к пожилой кухарке. Бабушка, бабушка, звала я ее. Да, внученька моя, да, моя девочка, мы всегда будем вместе, мы никогда не расстанемся, птенчик, обещала она мне, но я не была в этом уверена. Уже к тому времени во мне окрепло предчувствие, что моя жизнь будет представлять собой долгую череду даже не встреч и расставаний, но одних только расставаний. Эльвира, так же как и я, начала работать с самого раннего детства; накопившаяся усталость пропитала насквозь все ее тело и тяжелой ношей давила на сердце. Бесконечная работа и столь же бесконечная, беспросветная нищета словно придушили ее; она уже не хотела к чему-либо стремиться, чего-то добиваться и, пожалуй, не слишком цеплялась за жизнь. Чтобы подготовиться к смерти и не испугаться ее прихода, Эльвира стала с ней разговаривать, как с каким-то невидимым собеседником, и приступила к планомерным тренировкам: сначала изредка, а затем и вовсе каждую ночь она ложилась спать в стоявший в ее комнате гроб. Полагаю, дело было не только в том, чтобы заранее пообвыкнуться там, где придется провести очень долгое время, но и в том, чтобы позлить хозяйку, которая, естественно, была не в восторге от постоянного присутствия в доме столь заметного и массивного предмета ритуального обихода. Зрелище возлежащей в гробу кухарки настолько выводило из себя вторую служанку, что та в один прекрасный день покинула наш дом, не попрощавшись ни с кем, включая и хозяйку, который безрезультатно прождал ее в час сиесты. Перед тем как уйти, служанка пометила все двери в доме белым мелом: нарисовала на каждой крест. Что должны были символизировать эти знаки, так и осталось для всех нас тайной. Видимо, поэтому хозяйка не осмелилась распорядиться стереть их, а мы с Эльвирой предпочли сделать вид, что ничего не заметили. Эльвира относилась ко мне как настоящая бабушка к своей внучке. Это она научила меня обменивать слова на что-то другое, иногда на вполне вещественное и осязаемое; я считаю, что мне просто повезло: всю жизнь мне встречались люди, готовые пойти на подобную сделку.

За эти годы я не слишком изменилась внешне; я по-прежнему выглядела худенькой маленькой девочкой; выделяли меня только широко открытые глаза и дерзко устремленный вперед – чтобы позлить хозяйку – взгляд. Мое тело не торопилось развиваться, но внутри меня уже бежала невидимая река, какой-то бурлящий, обжигающий поток. Внутренне я уже ощущала себя как женщина, но зеркало отрезвляло меня, показывая смутное отражение не то ребенка, не то в лучшем случае девочки-подростка. Впрочем, пусть внешне я и не слишком повзрослела, но происшедших со мной изменений оказалось вполне достаточно, чтобы пожилой хозяин стал интересоваться мною больше. Нужно будет обязательно научить тебя читать, время от времени повторял он, но дело до этого как-то все не доходило. Он уже не только просил меня поцеловать его в нос, но и платил по несколько сентаво, чтобы я шла с ним в ванную и терла мочалкой все его тело. После ванны он ложился на кровать, и я вытирала его, присыпала тальком и надевала на него белье – в общем, возилась, как с новорожденным младенцем. Иногда он подолгу, порой по несколько часов, отмокал в ванне, играя со мной в кораблики и устраивая самые настоящие морские сражения, а иногда несколько дней кряду не замечал меня, погруженный в вычисления по ставкам или в мрачные переживания по поводу очередного проигрыша. В такие дни нос его отчетливо приобретал цвет и форму баклажана. Эльвира, со свойственной ей прямоотой, популярно объяснила мне, что у мужчин между ног есть одна такая штука, которая очень опасна, и особенно для маленьких девочек; из этой штуки, страш-

ной, как кукурузный початок, вылезают крохотные дети, которых мужчины суют в живот женщине, и те уже вынашивают, а затем рожают настоящих младенцев. Эльвира строго-настрого приказала мне никогда, ни при каких условиях не трогать ни эту штуку, ни близлежащие части мужского тела, потому что рискни я совершить такую глупость – и спящее чудовище тотчас же поднимет голову, набросится на меня, и тогда все, можно сказать, мне придет конец. Я как-то не слишком верила этим страшилкам пожилой кухарки, списывая все на то, что она действительно с возрастом начала заговариваться и не всегда связно выражала свои мысли. Кроме того, у хозяина не было между ног никакого чудовища или дракона; то, что мне доводилось видеть, напоминало жалкого, поникшего и страдающего избыточным весом дождевого червя. Ничего похожего на маленького ребенка из него никогда не вылезало, по крайней мере в моем присутствии. Эта штука была очень похожа на его нечистый пупырчатый нос; уже тогда я обратила внимание – а дальнейшая жизнь лишь подтвердила правильность моего предположения, – что нос и пенис мужчины тесно связаны между собой. Теперь мне достаточно посмотреть мужчине в лицо, чтобы сразу понять, как он будет выглядеть полностью раздетым. Носы бывают самые разные – длинные и короткие, утонченные и грубые, гордые и жалкие, жадно приносящиеся, дерзкие или же безразличные ко всему вокруг и годные лишь для того, чтобы сморкаться и сопеть. Короче говоря, разнообразию носов нет предела. Общим для них является то, что с возрастом практически все носы полнеют, сникают, становятся набухшими и теряют горделивую осанку, свойственную крепким и здоровым пенисам.

Выглядывая с балкона на улицу, я частенько задумывалась о том, что лучше, наверное, было бы оказаться по другую сторону забора. Там, снаружи, все было так интересно, особенно по сравнению с сонной, ленивой жизнью, текущей в этом доме практически без всяких событий и происшествий. Дни здесь были похожи один на другой как две капли воды. Так скучно, безмолвно и бесцветно время течет только в больницах. По ночам я смотрела в небо и думала, что было бы хорошо превратиться в струйку дыма и проползти сквозь прутья решетки, чтобы исчезнуть отсюда навсегда. Я ждала, что луч лунного света вот-вот упадет мне на спину и у меня вырастут крылья – красивые и сильные, как у большой птицы. Взмахнув ими, я улечу, куда мне захочется. Иногда мне удавалось так сосредоточиться на этой мысли, что я действительно улетала, пусть и недалеко, и кружила над крышами домов нашего города. Вот глупенькая, надо же было такое придумать, да кто тебе сказал, что девочки летать умеют; нет, внучка, по ночам летают только ведьмы и самолеты. Об Уберто Наранхо я много лет ничего не слышала, но всегда помнила его и часто думала о нем; у всех заколдованных принцев из моих сказок были его черты лица, все они смотрели на мир его глазами. Я интуитивно почувствовала любовь в очень раннем возрасте, она органично вплелась в мои сказки, это чувство присутствовало в моих снах, подстерегало, преследовало меня. Я внимательно рассматривала фотографии на страницах полицейской хроники и пыталась догадаться, какие страсти и трагедии скрываются за безликими для меня колонками букв. Не умея читать, я была заложницей разговоров старших; стоя под дверью, я подслушивала, о чем говорит по телефону хозяйка, а потом изводила Эльвиру расспросами о том, что не смогла понять самостоятельно. Ой, птичка, оставь ты меня наконец в покое. Радио было для меня источником вдохновения. На кухне его не выключали с утра до позднего вечера, и это был мой единственный контакт с внешним миром; в основном я слышала программы, восхваляющие нашу хранимую Богом страну, обладательницу всевозможных благ, достоинств и сокровищ. Оказывается, нам просто страшно повезло, начиная с того, что наша земля расположилась чуть ли не в самом центре карты мира, и заканчивая тем, что под нами разлилось бескрайнее нефтяное море – источник благосостояния для всего народа. Ну а о том, что нашей страной руководят мудрейшие из мудрейших правителей, я слышала по сотне раз в день. Благодаря радио я научилась петь болеро и другие народные песни, мне нравилось, театрально декламируя, повторять тексты рекламных роликов; а еще я освоила *this pencil is red, is this pencil blue? no that pencil is not blue, that pencil is red* из курса

английского для начинающих, которому ежедневно выделялось полчаса эфирного времени. Я назубок знала всю программу передач и умела имитировать голос любого диктора. Я следила за событиями, разворачивающимися буквально во всех радиосериалах, страшно переживала за вечно страдающих от превратностей жестокой судьбы героев и не переставала удивляться, что в конце концов у главной героини все само собой устраивалось и налаживалось самым благоприятным образом, притом что на протяжении пятидесяти серий она все делала себе во вред и вообще вела себя как полная идиотка.

– А я тебе говорю, что Монтедонико признает ее своей дочерью. Тогда, если он разрешит ей взять его фамилию, она сможет выйти замуж за Рохелио де Сальватьерру, – вздыхала Эльвира, почти прижав ухо к репродуктору.

– У нее ведь есть медальон, оставшийся от матери. Это же вещественное доказательство. Почему она просто не расскажет всем, что она дочь Монтедонико, да и дело с концом?

– Нет, птенчик, не может она так жестоко поступить с тем, кто даровал ей жизнь.

– То есть как это не может? Ничего себе подарок – да она до восемнадцати лет прожила в сиротском приюте!

– Понимаешь, тут дело такое, отец и есть отец, а то, что он извращенец и садист...

– Послушай, бабушка, если она сама не начнет действовать, то на ней так и будут ездить всю жизнь все кому не лень.

– Ты, главное, не волнуйся, все закончится хорошо. Разве ей не написано на роду быть счастливой, раз она такая хорошая девушка?

Эльвира оказалась права. В этих сериалах честные и терпеливые всегда побеждали, а злодеи получали по заслугам. Вот и на этот раз Монтедонико сразила тяжелая неизлечимая болезнь, на смертном одре он смиренно умолял дочь простить его, а она, естественно, ухаживала за ним до самой смерти; унаследовав все его состояние, добрая и благородная красавица связала себя узами брака с Рохелио де Сальватьеррой, попутно, кстати, обеспечив меня огромным количеством строительного материала для создания моих собственных историй; сочиненные мною сказки коренным образом отличались от тех, что я слышала по радио, лишь в одном: далеко не всегда я выполняла неперемное правило, согласно которому у каждой сказки должен быть счастливый конец. Ой, птичка, а что это в твоих сказках никто никогда не женится? Порой мне хватало буквально нескольких слогов, чтобы у меня в голове распустился целый цветник ярких образов. Как-то раз я услышала незнакомое, показавшееся мне сладким на слух слово и тотчас же побежала к Эльвире: бабушка, а что такое снег? Из ее объяснений я сделала вывод, что эта загадочная субстанция больше всего напоминает раскрошенные и замороженные меренги. С того дня я стала представлять себя в образе героини полярных сказок – этаким огромной, могучей, наводящей ужас жительницей вечных снегов, страшно косматой и страшно свирепой; я сражалась против целой банды ученых, которые охотились за мной, чтобы отправить в какую-то лабораторию и проводить надо мной свои опыты. Узнать, как выглядит почти настоящий снег, мне удалось в тот день, когда одна из племянниц Генерала отмечала свое пятнадцатилетие: об этом событии столько говорили по радио, что Эльвире не оставалось ничего другого, как отвести меня туда, где разворачивался сей грандиозный спектакль, чтобы посмотреть на эту сказку наяву хотя бы издали, хотя бы одним глазком. В тот вечер в лучшем отеле города собралось более тысячи приглашенных. Саму гостиницу по такому случаю не просто украсили, а превратили в летнюю пародию на дворец Золушки в Рождественскую ночь. У парадного входа были подстрижены филодендроны и полностью убраны тропические папоротники, у пальм срезали верхушки и вместо них воткнули сосновые ветки, которые вместе с несколькими рождественскими елями специально привезли с Аляски; все это было укрыто покрывалом из белого стекловолокна и насыпанными поверх него кристаллами искусственного льда. Приглашенным предложили покататься на коньках, пусть хотя бы и роликовых. Для этого была отведена специально огороженная площадка, покрытая белым пластиком.

В общем, устроители праздника как могли старались превратить гостиницу в тропиках в подобие страны близ Северного полюса. Иней на окнах имитировала специальная краска с блестками, а над самой площадью было разбросано столько искусственного снега, что даже неделю спустя отдельные хлопья его все еще залетали в хирургическое отделение военного госпиталя, находившегося в полукилометре от места проведения торжества. Заморозить воду в бассейне не удалось: привезенные из Америки морозилки оказались бессильны перед такой жарой; вместо льда поверхность воды покрывала мерзкая желеобразная субстанция, чем-то напоминающая рвотную массу. В последний момент устроители праздника нашли спасительное решение: в бассейн запустили двух выкрашенных розовой краской лебедей, которые, мучаясь в ледяной воде, несли на шеях ленту с вышитыми золотом инициалами именинницы. Чтобы придать празднику еще больше светского блеска, из Европы специальным самолетом были доставлены представители одной из королевских фамилий, а вместе с ними для пущего эффекта и одна кинозвезда. Ровно в полночь с крыши отеля к гостям спустили саму именинницу. Она сидела на качелях, сделанных в форме санок, и была вся с ног до головы в соболях, горностаях и других мехах; метрах в четырех от земли спуск приостановили и некоторое время раскачивали девушку из стороны в сторону. В общем, очутившись среди гостей, она чуть не упала в обморок от тошноты, вызванной качкой, и от полученного в шубе и меховой шапке теплового удара. Разумеется, мы, простые зеваки, которых никто и не собирался близко подпускать к месту празднования, ничего этого не видели; впрочем, об этом событии еще долго писали газеты, сопровождавшие репортажи и статьи множеством фотографий. То, что главный отель столицы на одну ночь переместился в Арктику, никого особо не удивило: в нашей стране случались вещи и поудивительнее. Из всего, что мне удалось увидеть наяву или разглядеть потом на фотографиях, ничто так не привлекло моего внимания, как огромные чаны, полные самого настоящего снега, установленные перед входом в отель, чтобы почтенная публика могла развлечься игрой в снежки и лепкой снеговиков, что являлось, судя по рассказам бывалых путешественников, любимым занятием жителей холодных северных стран. Я сумела ускользнуть от Эльвиры, просочиться между охраной и прислугой, и в конце концов мне удалось пробраться к чаше с невиданным сокровищем. Сунув руку в снег, я даже вскрикнула от неожиданности: мне показалось, что это белое сверкающее вещество вовсе не холодное, а, наоборот, горячее, как огонь. Хотя мне и было страшно, я все же не выпустила комок снега из не то обожженной, не то сведенной от холода руки. В этот момент один из охранников попытался схватить меня, но я стремительно опустилась на четвереньки и прошмыгнула у него между ног, унося с собой комочек снега, прижатый к груди. Когда он растаял и вытек между пальцами тоненькой струйкой воды, я почувствовала себя так, будто надо мной неудачно и жестоко подшутили. Через несколько дней Эльвира подарила мне прозрачную полусферу, в которой была игрушечная избушка под высокой сосной; стоило встряхнуть этот крохотный мирок, и в нем тотчас же поднималась снежная буря – в полусферу была засыпана пригоршня мелких кусочков фольги. Держи, птенчик, это тебе, сказала она, пусть и у тебя будет своя зима.

В те годы я еще не достигла того возраста, когда подростки начинают интересоваться политикой; тем не менее Эльвира постаралась вбить мне в голову мятежные, почти крамольные мысли и небезуспешно настроила меня против хозяев.

– Эх, птенчик мой, птенчик, если б ты только знала, как в этой стране все прогнило. Ты посмотри, сколько здесь ошивается одних только гринго со светлыми волосами; не успеем оглянуться – они и нашу землю куда-нибудь увезут, а мы здесь останемся, прямо среди моря. Нет, я тебе это серьезно говорю.

Хозяйка, естественно, придерживалась противоположной точки зрения:

– Как же нам не повезло! Почему нас открыл Христофор Колумб, а не какой-нибудь англичанин; здесь так не хватает энергичных людей, принадлежащих к той высшей расе, которая знает, как прокладывать дороги в сельве, как обрабатывать каждый ровный клочок земли,

как создавать промышленность. Разве не так возникли Соединенные Штаты? И что теперь? Видите, какого уровня они теперь достигли!

Она была согласна с Генералом, открывшим границы для всех, кто бежал за лучшей долей из опустошенной послевоенной Европы. Иммигранты приезжали сотнями и сотнями, целыми семьями – с женами, детьми, родителями и дальними родственниками, со своими разнообразными языками и традиционными кухнями, своими легендами и праздниками, со своим багажом воспоминаний и ностальгии. Впрочем, наша пышная природа и девственные ландшафты поглотили пришельцев без остатка. Они растворились в стране практически без следа. Кроме того, власти дали разрешение на переселение в нашу страну очень ограниченного количества жителей нескольких азиатских стран; эти люди, едва приехав, начали приумножать свою численность с невиданной, почти сверхъестественной быстротой. Спустя всего лишь двадцать лет кто-то обратил внимание сограждан на то, что в столице буквально на каждом углу стоит ресторан с разноцветными драконами на витринах, цветными фонариками над входом и крышей в форме пагоды. В те времена в одной из газет появился репортаж-страшилка о том, как один молодой китаец, официант в ресторане, вдруг ни с того ни с сего оставил посетителей, поднялся на второй этаж в кабинет хозяина и с помощью двух больших кухонных ножей отрубил тому голову, а заодно и руки. На допросе он объяснил свой поступок тем, что хозяин проявил непростительное неуважение к каким-то, одним китайцам ведомым, религиозным канонам и, оформляя интерьер зала, разместил изображение дракона в непосредственной близости от тигра. По ходу следствия выяснилось, что оба главных действующих лица этой трагической истории были нелегальными иммигрантами. Журналисты начали собственное расследование, и оказалось, что каждый официально выданный властями паспорт использовался приезжими десятки, если не сотни раз. Удивляться этому не приходилось: что взять с таможенника или пограничника, если он с трудом отличает китайца от китайки. Разобраться, кто именно изображен на фотографии, вклеенной в паспорт, он не сумеет никогда в жизни. Иностранцы приезжали в нашу страну, рассчитывая сколотить здесь состояние и вернуться на родину. Тем не менее большая часть их так и осела в наших краях; их потомки позабыли родной язык, их пленили аромат кофе, атмосфера всеобщего веселья и очарование нашего народа, которому в те времена практически не было известно такое черное чувство, как зависть. Лишь немногие из приезжих отправились вглубь страны возделывать землю, бесплатно предоставленную им правительством: там, в глубинке, не было ни дорог, ни школ, ни больниц, зато болезней, москитов и всяких ядовитых тварей хватало в изобилии. Таким образом, внутренние, удаленные от побережья районы страны продолжали жить своей жизнью: там было царство бандитов, контрабандистов и солдат. Большая часть иммигрантов осела в городах; работали они не покладая рук и экономили каждое сентаво, откладывая все на черный день и рассчитывая рано или поздно скопить хорошее состояние. Исконные местные жители беззлобно посмеивались над ними, потому что щедрость и даже расточительность издавна почитались в нашем народе едва ли не главными добродетелями любого человека, уважающего себя и уважаемого другими.

– Ну не верю я этим машинам, не верю – и все тут. Ничего хорошего нет в том, что мы пытаемся жить, как гринго: плохо это, душу потерять можем! – причитала Эльвира, пораженная мотовством, которое демонстрировали те сограждане, кому удалось быстро и неожиданно разбогатеть; не зная, куда потратить деньги, они пытались устроить свою жизнь так, как видели это в кино.

Мои хозяева деньгами швыряться не могли: жили они лишь на пенсию по старости; никаких новшеств и признаков роскоши в доме не имелось. Тем не менее они прекрасно знали, что происходит вокруг, и придирчиво оценивали перемены в жизни соседей. Каждый уважающий себя гражданин страны желал стать обладателем огромного автомобиля; дело дошло до того, что по улицам, забитым машинами, стало просто невозможно проехать. Нефть меняли на все: на телефоны в форме старинных пушек, морских раковин или восточных танцов-

щиц-одалисок; импортного пластика в страну завезли столько, что обочины всех дорог оказались сплошь завалены этим неразлагающимся мусором; каждый день в аэропорту столицы приземлялось несколько самолетов с грузом свежих яиц – на радость просыпающемуся и завтракающему народу; немалая часть этого продукта превращалась в омлеты и яичницы прямо там, в аэропорту: стоило перевернуть коробку, как разбившиеся на взлетно-посадочной полосе яйца мгновенно поджаривались на раскаленном асфальте.

– А ведь Генерал прав: вся проблема в том, что у нас здесь никто не умирает с голоду: протянул руку и сорвал себе манго, потому мы и плетемся позади прогресса. Вот в холодных странах цивилизация и развивалась быстрее, потому что сам климат заставляет людей много работать, – говорил хозяин, прячась в тень, обмахиваясь газетой, как веером, и почесывая живот.

Он долго думал над тем, как улучшить ситуацию в стране, и наконец изложил результат своих размышлений в письме, направленном в Министерство общего развития: в своем послании пожилой холостяк предлагал рассмотреть возможность буксировки айсбергов из полярных регионов океана прямо к нашему побережью; здесь эти ледяные горы предлагалось измельчать и разбрасывать ледяную крошку с самолетов; таким образом вполне возможно локальное изменение климата, а оно уже позволит изменить национальный характер и избавить население страны от присущей ему лени.

Несмотря на то что власти предрежащие разворовывали страну без всякого стеснения, воры по профессии, призванию или по необходимости весьма редко рисковали упражняться в мастерстве на согражданах. Полиция зорко следила за порядком в стране; с тех времен и укоренилась мысль, что только при диктатуре может торжествовать порядок и граждане могут жить спокойно. В то же время большая часть населения страны, самые обыкновенные люди, до которых так и не докатились такие достижения цивилизации, как фигурные телефоны, одно-разовые синтетические трусы и импортные яйца, продолжала жить точно так же, как и раньше. Все сколько-нибудь заметные оппозиционеры находились в изгнании, но Эльвира утверждала, что, несмотря на всеобщее затишье и безмолвие, в народе копится гнев и обида на власть – главное условие для того, чтобы возникло сопротивление правящему режиму. Хозяева, в свою очередь, целиком и полностью поддерживали любое решение Генерала; когда офицеры гвардии стали ходить по домам, настойчиво предлагая гражданам покупать портреты правителя, наши брат с сестрой гордо продемонстрировали посетителям уже висевшую в их гостиной на почетном месте парадную фотографию Генерала. Эльвира же копила и подогревала в себе лютую ненависть к этому пузатому вояке, которого сама даже никогда в жизни не видела и который лично ей вроде бы ничего плохого не сделал; всякий раз, протирая портрет тряпкой, она негромко, себе под нос, проклинала Генерала и смотрела на фотографию только искоса, выражая ему свое презрение, а также рассчитывая, что рано или поздно ей удастся его сглазить.

Глава четвертая

В тот день, когда почтальон обнаружил труп Лукаса Карле, лес был как будто вымыт и сверкал мельчайшими капельками росы; от земли поднимались сильный запах палой листвы и легкий, полупрозрачный, какой-то неземной туман. Почтальон проезжал на велосипеде по этой тропинке каждый день в течение вот уже почти сорока лет. Незаметная, но нужная работа и умение крутить педали, не высовываясь и не обращая на себя внимания, помогли ему пережить целым и невредимым две мировые войны, оккупацию, избежать голода и многих других несчастий. Проработав столько лет на одном и том же месте, он знал практически всех обитателей округи; точно так же хорошо ему были знакомы и окрестные леса, где он, наверное, мог бы при необходимости определить вид и породу каждого дерева, а заодно и назвать его возраст. То утро на первый взгляд ничем не отличалось от всех остальных: вроде бы и дубы, и буки, и каштаны с березами были такими же, как обычно; точно так же у основания стволов и между корней расстился ковер из мягкого мха, над которым кое-где торчали шляпки грибов. Точно так же дул свежий прохладный ветерок, из-за которого на земле постоянно перекраивался и перестраивался узор из теней и пятен солнечного света, пробивающегося сквозь кроны деревьев. В общем, день был самый обыкновенный, и любой чуть менее знающий и понимающий природу человек не заметил бы в окружающем лесу ничего неожиданного и уж тем более не расслышал бы предупреждения о чем-то мрачном и неприятном. И все же почтальону в то утро почему-то было не по себе, он поеживался и вздрагивал так, словно все его тело чесалось изнутри. Он даже не видел, а скорее чувствовал знаки беды, оставленные в лесу, на которые любой другой человек вряд ли вообще обратил внимание. Для пожилого почтальона лес был чем-то вроде единого организма, огромной живой твари, по жилам которой неторопливо текла спокойная и кроткая зеленая кровь. В тот день этот мирный, безобидный зверь был явно встревожен. Не доехав до деревни, почтальон остановился, слез с велосипеда и глубоко вдохнул, словно пытаясь почуять причину повисшей в воздухе тревоги. Настораживала его и тишина, царившая в лесу. Старый почтальон даже забеспокоился, не подводит ли его слабеющий с возрастом слух. Прислонив велосипед к дереву, он сошел с тропинки, чтобы посмотреть, что делается в лесу. Место для остановки он интуитивно выбрал правильно. Долго бродить по лесу ему не пришлось: он сделал всего несколько шагов и тут же наткнулся на повешенного. Тот висел на грубой веревке, привязанной не слишком высоко к толстой ветке дерева. Почтальон увидел покойника со спины, но, чтобы узнать этого человека, ему и не потребовалось заглядывать в лицо. Лукаса Карле он знал с тех пор, как тот появился здесь много лет назад. Молодой учитель пришел в эти края неизвестно откуда, кажется из какого-то приграничного французского городка; при нем были баулы с книгами, большая карта мира и диплом учителя; едва обосновавшись на новом месте, он женился на милой и симпатичной девушке, от красоты которой буквально через несколько месяцев после свадьбы не осталось и следа. Почтальон узнал мертвеца по сапогам и учительскому плащу. Неожиданно у него возникло ощущение, будто он не то когда-то уже видел эту картину, не то просто подсознательно предчувствовал и, быть может, даже желал такой смерти этому человеку. Поначалу почтальон не испугался: в его душе возникло что-то вроде иронии. Не до конца сформулированная в словах, в голове у него промелькнула насмешливо-торжествующая мысль: а ведь предупреждал я тебя, мерзавец. Несколько секунд почтальон простоял неподвижно, еще не вполне осознав серьезность случившегося. Неожиданно дерево тяжело вздохнуло, сук вздрогнул, и, повинаясь легкому движению ветерка, тело повешенного развернулось так, что мертвый учитель встретился глазами с живым почтальоном. В первое мгновение тот не смог даже пошевелиться. Так они и замерли один против другого, глядя в глаза друг другу. Когда оба – и отец Рольфа Карле, и деревенский почтальон – поняли, что им больше не о чем говорить, старик вздрогнул, повернулся и бросился

обратно на тропинку. Потянувшись к велосипеду, он внезапно почувствовал, что его словно изо всех сил ударили ногой в грудь. Боль была острой, жгучей и засела в сердце надолго, словно очередная незаживающая рана от несчастной любви. С трудом сдерживая готовый вырваться из горла хриплый стон, он все же сел в седло, взялся за руль и стал крутить педали изо всех сил.

Так быстро он не ездил на своем велосипеде уже давно; к тому моменту, как велосипед вкатился в деревню, сердце немолодого почтового служащего готово было разорваться. Он рухнул на землю прямо перед пекарней, успев издать не то предупреждающий, не то призывающий на помощь крик. Пекарь и его работники выскочили на улицу и увидели лежащего старика, в широко раскрытых глазах которого застыл страх. Почтальона подняли на руки и внесли в дом, где положили на стол, на котором только что месили тесто для сладких булочек. Перепачканный мукой, старик показывал пальцем в сторону леса и сбивчиво повторял, что Лукас Карле наконец нашел свою смерть, что по нему давно веревка плакала и странно, что этого не случилось раньше. Редкостный он был мерзавец, форменная скотина. Так в деревне и узнали о случившемся. Новость мгновенно облетела все дома один за другим; пожалуй, столь значительного события в этих краях не происходило с самого окончания войны. Жители выходили из домов, и вскоре на площади собралась практически вся деревня, за исключением пяти учеников старшего класса местной школы, которые засунули голову под подушки и усиленно изображали сладкий безмятежный сон.

Вскоре полицейские уже стучались в дома врача и судьи – те еще спали, но, услышав о случившемся, не потребовали много времени на сборы. Процессия, состоявшая из официальных лиц, представителей закона и сопровождаемая кое-кем из жителей деревни, вскоре уже направлялась в сторону леса – туда, куда указал дрожащим пальцем перепуганный почтальон. Тело Лукаса Карле, висевшее наподобие огородного пугала буквально в двух шагах от лесной тропинки, было обнаружено очень быстро. Стали вспоминать, кто и когда в последний раз видел учителя живым, и выяснилось, что еще с пятницы о нем не было ни слуху ни духу. Покойного снимали с импровизированной виселицы вчетвером. Ночь была свежая, и труп околел, превратившись в негнущийся монолит. Врачу хватило одного взгляда, чтобы определить, что тот хоть и умер от удушья, но перед этим успел получить сильнейший удар чем-то тяжелым и твердым по затылку. Полицейским же, в свою очередь, хватило нескольких секунд, чтобы сообразить, что если кто и может дать какие-то внятные пояснения по поводу случившегося, то это ученики повешенного, с которыми он как раз и ушел в предусмотренный учебным планом поход по окрестностям.

– Приведите сюда этих парней, – приказал комендант.

– Зачем еще? По-моему, это зрелище не для детей, – возразил судья, чей внук также числился среди учеников жертвы.

Впрочем, замять такое дело не представлялось возможным, а раз так, то и всех возможных свидетелей и подозреваемых следовало допросить. Следствие было проведено силами местных правоохранительных органов скорее по обязанности и, быть может, из чувства служебного долга, но никак не по причине искреннего желания установить истину. Ученикам-старшеклассникам пришлось давать показания; они, естественно, всё отрицали: по их словам выходило, что они, как всегда в это время года, пошли в лес, где играли в мяч, устроили соревнования по вольной борьбе, перекусили тем, что принесли с собой из дому, а затем, взяв освободившиеся корзинки, разбрелись в разные стороны собирать грибы. В соответствии с полученными от учителя инструкциями, когда начало смеркаться, они собрались в условленном месте на идущей через лес тропе, немало удивленные тем, что не услышали знакомого каждому свистка учителя, которым тот обычно подзывал учеников к себе. Самого учителя тоже нигде не было видно. Его долго и безрезультатно искали, затем ждали на дороге, а когда совсем стемнело, решили возвратиться домой. Сообщать о пропаже учителя полиции никому из учеников, само собой, и в голову не пришло. По их словам, все подумали, что Лукас Карле

просто-напросто один вернулся домой или же зашел по каким-то делам в школу. Больше от ребят ничего добиться не удалось. Само собой, они уверяли, будто понятия не имеют, что жизнь их уважаемого учителя столь неожиданно оборвалась и как именно это произошло.

Рольф Карле, в школьной форме, в свеженачищенных ботинках и в форменной школьной фуражке, натянутой на самые уши, шел вместе с матерью по гулкому коридору префектуры. Он выглядел так, как и положено выглядеть подростку в его возрасте: был худощав и несколько нескладен; кроме того, лицо его покрывали веснушки, зато взгляд свидетельствовал о пытливом уме, а тонкие руки – о мягком характере. Мать и сына завели в просторное, почти пустое помещение, стены которого были выложены кафелем, а в центре на больничной каталке, освещенный лампами, лежал накрытый простыней труп. Мать вынула из рукава носовой платок и тщательно протерла очки. Когда врач-патологоанатом отдернул простыню с лица покойника, она наклонилась над каталкой и долго, в течение чуть ли не минуты, внимательно вглядывалась в деформированное последними судорогами лицо мертвеца. Затем жестом подозвала сына, чтобы тот тоже посмотрел в лицо покойника; потом женщина опустила глаза и, всплеснув руками, закрыла ладонями лицо – ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из окружающих заметил ее радость.

– Это мой муж, – наконец сказала она.

– Это мой отец, – подтвердил Рольф Карле, изо всех сил стараясь говорить спокойно и по возможности печально.

– Примите мои соболезнования. Ваша семья понесла невосполнимую утрату... – пробубнил доктор, почему-то покраснев при этом. Он вновь накрыл труп простыней, и все трое несколько минут постояли рядом с покойником, рассеянно глядя на контуры тела, вырисовывавшиеся под тканью. – Я еще не проводил вскрытия, но, по-моему, речь идет о самоубийстве; очень, очень вам сочувствую.

– Ну что ж, полагаю, на этом формальности закончены, – сказала мать.

Рольф взял ее под руку, и вдвоем они не торопясь вышли из зала. Звук шагов, гулко разносившийся по пустому помещению с голым цементным полом, на всю жизнь остался в памяти Рольфа и всегда ассоциировался у него в душе с чувством радости и покоя.

– Никакое это не самоубийство. Твоего отца убили твои товарищи по школе, – заявила сеньора Карле, когда они с сыном вернулись домой.

– Откуда ты знаешь, мама?

– Я просто уверена в этом, и я готова поблагодарить их за то, что они сделали, потому что, если б они не решились на этот поступок, нам с тобой рано или поздно пришлось бы это сделать самим.

– Пожалуйста, не говори так, – испуганно пробормотал Рольф, которому и в голову не могло прийти, что в душе его матери остались хоть какие-то чувства, кроме покорности и страха; теперь же, после смерти отца, выяснилось, что мать не только боялась, но и всем сердцем ненавидела этого страшного человека. До того Рольф считал, что такое чувство испытывает только он сам. – Ну, все, что случилось, то и случилось. Давай забудем об этом.

– Нет уж, ни в коем случае, мы не должны забывать о том, что с нами было; наоборот, мы должны всегда об этом помнить, – сказала мать, как-то по-новому улыбаясь сыну.

Жители деревни так настойчиво пытались стереть следы об учителе Карле и его странной смерти из общей памяти, что вполне преуспели бы в этом, если бы не вмешались сами мальчишки-убийцы. Долгие годы они копили обиду, злость и смелость, чтобы решиться на такой действительно дерзкий, чудовищный поступок. Подсознательно каждый из них понимал, что, наверное, никогда в его жизни не произойдет ничего более значительного. Им вовсе не хотелось, чтобы память об этом поступке – не важно, называть ли его злодеянием или благодеянием, – бесследно растаяла, как стираются воспоминания о чем-то обыденном. Нет, конечно; на похоронах учителя они стояли вместе с другими учениками в парадных костюмах и подпе-

вали заупокойным молитвам. Они же, как самые старшие, возложили к гробу венки от имени учеников школы и при этом все время смотрели куда-то в землю, чтобы никто не заметил, как они обмениваются заговорщическими взглядами. После похорон они с полмесяца хранили полное молчание, все ожидая, что в одно прекрасное утро им предъявят обвинение, подтвержденное неопровержимыми уликами, арестуют и отправят в тюрьму. Страх пропитал их насквозь, и некоторое время мальчишки просто не знали, как жить дальше с этим страхом. Так продолжалось до тех пор, пока им не подвернулась возможность выразить свои страхи в словах, придав им таким образом форму. Дело было после урока физкультуры, на котором старшеклассники играли в футбол: после матча в раздевалке собрались игроки обеих команд; довольные жизнью и насквозь пропотевшие, они переодевались и принимали душ со смехом, шутками и, как подобает мальчишкам, то и дело устраивая возню. Пятеро подростков, участвовавших в убийстве, не сговариваясь, задержались в душе дольше остальных и, когда в раздевалке не осталось лишних свидетелей, не одеваясь, подошли к зеркалу и внимательно осмотрели друг друга, чтобы окончательно убедиться, что ни на одном из них не осталось видимых следов случившегося. Один из парней улыбнулся, рассеяв этой улыбкой нависшую было над ними тень опасности. Мальчишки вдруг почувствовали себя такими же, какими были до убийства. Они хлопали друг друга по плечам, обнимались и кривлялись совсем как маленькие дети. В конце концов, Карле получил по заслугам: он был редкостной скотиной, садистом и психопатом, – вынесли они себе оправдательный приговор. Затем, вспомнив в подробностях, как все происходило в день убийства, они обнаружили огромное количество оставленных ими неопровержимых улик и ведущих к ним следов. То, что их до сих пор не арестовали, можно было списать либо на чудо, либо же на нежелание тех, кто должен был расследовать это дело, докопаться до истины. С этого момента все пятеро уверовали в свою безнаказанность. В конечном счете, если хорошенько подумать, кому придет в голову выдвинуть против них обвинения? Если будет назначено расследование, то вести его станет не кто иной, как начальник местной полиции – отец одного из участников преступления. Дойди дело до суда – и председательствующим на нем был бы деревенский судья, приходившийся дедушкой одному из убийц. Что же касается присяжных, то практически все они были бы родственниками, друзьями или соседями тех семей, в которых росли и воспитывались все пятеро. В этом маленьком городке все знали друг друга, многие семьи породнились между собой, и никому, похоже, не хотелось ворошить случившееся и копаться в истинных причинах смерти Лукаса Карле. Судя по всему, даже его ближайшие родственники не слишком переживали по поводу его безвременной кончины, а скорее наоборот – вздохнули с облегчением. Поговорив друг с другом, парни выяснили то, что каждый из них давно подозревал: и жена, и сын учителя-садиста втайне мечтали о том, чтобы он исчез из их жизни, причем исчез все равно, каким образом; и когда это наконец произошло, ветер благодатных перемен в первую очередь коснулся именно их дома и, пройдясь по нему от крыши до пола, наполнил его уже забытым в семье Карле свежим воздухом и ощущением чистоты и легкости.

Ребята поклялись друг другу не забывать о своем поступке, теперь казавшемся им героическим подвигом; этого они добились в полной мере; более того, история убийства стала передаваться из уст в уста, начала обрывать дополнительные невероятные детали и спустя весьма короткое время превратилась в самую настоящую легенду. Мальчишки организовали своего рода клуб, в который приняли друг друга на условиях, сформулированных в тайной присяге. Иногда по вечерам они собирались на опушке леса, чтобы отдать дань памяти самой знаменательной пятнице в их жизни. Главной целью этих сборищ было поддержание воспоминаний о случившемся в должной боевой форме. Вспоминали ребята каждый свой шаг, каждое движение; всякий раз они подробно пересказывали друг другу, как один из них швырнул в голову учителя здоровенный камень, отчего тот упал на землю как подкошенный; вспоминали, естественно, и приготовленную заранее веревку со скользящим узлом, вспоминали, как

залезали на дерево, как набрасывали петлю на шею все еще лежавшего без чувств учителя; хорошо запомнился им и тот миг, когда он, уже вздернутый, вдруг открыл глаза и забился в предсмертных конвульсиях. Члены этого тайного общества решили обозначить свою принадлежность к братству маленьким кружочком белой ткани, нашитым на левый рукав форменной школьной куртки. Вскоре весь поселок оказался в курсе сакрального смысла, приписываемого этому знаку. Знал об этом и Рольф Карле, душа которого разрывалась между благодарностью к убийцам, освободившим его от мучителя, и унижительной необходимостью носить фамилию повешенного, а также в равной степени стыдом за то, что у него самого не хватило решимости и сил ни сделать это самому, ни отомстить убийцам своего отца.

Рольф Карле стал худеть на глазах. Его организм отказывался принимать пищу: стоило ему поднести ко рту ложку, как та превращалась в отцовский язык; со дна тарелки на него смотрели мутные глаза покойника; даже хлеб, казалось, был того же цвета, что и кожа на руках отца. Ночами Рольфа била дрожь, а днем он придумывал разные предлоги, чтобы не выходить из дому; впрочем, чувствовал он себя действительно плохо и страдал от головной боли. Правда, мать заставляла его съедать все, что положено, а потом почти насильно выпроваживала в школу. Он терпел эти мучения двадцать шесть дней. Утром двадцать седьмого дня, увидев на перемене пятерых своих товарищей по школе с одинаковыми метками на рукавах, он согнулся пополам от приступа рвоты. Даже когда у него в желудке уже ничего не осталось, позывы не прекратились, и директор, не на шутку встревожившись, вызвал «скорую помощь» из соседнего городка. Рольфа отвезли в больницу, где продержали несколько дней. Все это время его то и дело выворачивало наизнанку. Увидев сына в таком состоянии, госпожа Карле интуитивно поняла, что, несмотря на внешнюю схожесть симптомов, заболевание не имеет ничего общего с обычным отравлением или несварением желудка. Врач, живший в их деревне, – тот самый, который принимал у нее роды и который выдал ей, как вдове, свидетельство о смерти мужа, – предложил матери перевезти мальчика домой. Здесь он внимательно осмотрел Рольфа и прописал ему целый набор каких-то таблеток, а самой госпоже Карле в разговоре по душам посоветовал не слишком переживать по поводу недомогания сына: с его точки зрения, Рольф на самом деле был парнем здоровым и крепким, а этот кризис, несомненно, связан с пережитым потрясением и через какое-то время должен пройти сам собой. Вскоре, заверил доктор госпожу Карле, парнишка снова сможет в полную силу заниматься спортом, а там того и гляди начнет всерьез ухлестывать за девчонками. Госпожа Карле выдавала Рольфу таблетки в строгом соответствии с полученными врачебными указаниями; через несколько дней, заметив, что препараты не дают ожидаемого эффекта, она по собственной инициативе удвоила дозу каждого из лекарств. Все было безрезультатно. Рольф по-прежнему ничего не ел, а главное, от недоедания и общей слабости у него началось помутнение рассудка, выражавшееся в видениях и галлюцинациях. Ему то мерещился повешенный отец, то вдруг вспоминался страшный день, когда вместе со старшим братом ему пришлось хоронить погибших узников концлагеря. Взгляд безмятежных глаз Катарины неотступно следовал за ним. Сестра ходила за Рольфом по всему дому, а под вечер брала его за руку и пыталась спрятаться вместе с ним под кухонный стол. Удавалось это им лишь отчасти, потому что оба за последнее время заметно выросли. В конце концов они свернулись калачиком рядом друг с другом, и Катарина на свой манер забормотала какую-то длинную, почти бесконечную колыбельную, которую она запомнила с детства.

В следующий четверг рано утром мать вошла в комнату сына, чтобы накормить его завтраком и отправить в школу. Едва она переступила порог, как Рольф, бледный и истощенный, метнулся к противоположной стене и словно распластался по ней. Судя по всему, он был готов умереть, но не выходить из комнаты, где, впрочем, чувствовал себя ничуть не лучше, чем в любом другом месте: неотступно следовавшие за ним призраки прошлого вконец измотали и истерзали его душу. Госпожа Карле поняла, что так просто преодолеть болезнь, обрушившуюся

на сына, не удастся; он явно сгорал от чувства вины за то, что сам мечтал совершить то преступление, которое по милости его товарищей по школе избавило их от ненавистного отца. Не говоря ни слова, госпожа Карле подошла к двери кладовки-чулана и, открыв ее, стала рыться в старых вещах. Многие из того, что попадалось ей под руку, она уже давным-давно считала потерянным. Здесь была одежда, которую уже никто не носил, игрушки, которые дети переросли, рентгеновские снимки мозга Катарины, ружье, подаренное когда-то Йохену. Наткнулась она и на красные кожаные туфли с каблуками-шпильками; она сама себе удивилась, поняв, что не испытывает ни особой боли, ни каких-то ярко выраженных неприятных эмоций при взгляде на эти туфли. Ей почему-то даже не захотелось выбросить их в мусорную яму; вместо этого она отнесла их в гостиную и повесила над каминной полкой по обе стороны от портрета своего покойного мужа, соорудив таким образом некое подобие алтаря в его честь. Наконец она нашла то, что искала: потертый армейский брезентовый ранец с крепкими кожаными ремнями – тот самый, который Лукас Карле носил во время войны; со свойственной ей тщательностью, с какой делала всю работу дома и в огороде, она уложила в ранец вещи младшего сына. Поверх одежды пристроила собственную фотографию, сделанную в день свадьбы, и картонную коробочку, выложенную изнутри шелком, в которой хранился локон волос Катарины, а сверху – сверток с овсяными галетами, испеченными ею накануне.

– Давай-ка, сынок, одевайся, ты уезжаешь в Южную Америку, – объявила она не терпящим возражений тоном.

Вот так Рольф Карле и оказался на борту норвежского судна, которое перевезло его на другой конец света, подальше от мучивших кошмаров. Мать проводила его на поезде до ближайшего порта, купила сыну билет третьего класса, завернула оставшиеся деньги в носовой платок и пришила этот сверточек вместе с адресом дяди Руперта к подкладке брюк мальчика, строго-настрого приказав ни под каким видом не снимать их. Все это она проделала с абсолютно бесстрастным лицом и на прощание быстро, словно походя, чмокнула сына в лоб – так, как она это делала каждый день, когда он уходил в школу.

– Я надолго еду, мама?

– Не знаю, Рольф.

– Нельзя мне уезжать, я же остался единственным мужчиной в семье, я должен заботиться о тебе.

– За меня не волнуйся, все будет хорошо. Я тебе напишу.

– Катарина ведь больна, не могу я ее бросить...

– Твоей сестре жить все равно осталось недолго, мы же всегда знали об этом, так что нет смысла беспокоиться за нее. Что случилось? Ты что, плачешь? Нет, Рольф, ты не похож на моего сына, пойми, ты уже не в том возрасте, чтобы плакать как маленький. Давай вытри нос и марш на борт, а то люди на нас оглядываться начнут.

– Мама, мне плохо, меня тошнит.

– Еще чего не хватало! Я запрещаю тебе блевать. Не вздумай опозорить меня перед посторонними; давай живо на трап, а как окажешься на борту, быстро иди на нос и стой там. Даже не вздумай оглядываться назад. Прощай, Рольф.

Не вняв прощальному материнскому напутствию, мальчик пробрался на корму и оттуда увидел, что мать смотрит вслед удаляющемуся судну. Так она и простояла на самом краю причала, пока оно не скрылось за горизонтом. В памяти Рольфа навсегда запечатлелся этот образ матери: одетая в черное платье, в фетровой шляпе, с сумочкой из искусственной крокодиловой кожи, она стоит на причале и молча смотрит вдаль, на раскинувшееся перед ней море.

Почти месяц продолжалось путешествие Рольфа Карле на самой нижней палубе судна; в его общей каюте вместе с ним плыли в Новый Свет беженцы, эмигранты и другие неотягощенные материальным достатком люди. За все время плавания он не перекинулся с попутчиками и парой слов. Непонятно, чего больше было в его отчужденности – гордости или робости;

кроме того, говорить ему, в общем-то, и не хотелось, настолько его внимание было поглощено океаном: он готов был смотреть на него бесконечно, с утра до ночи. Через некоторое время молодой человек стал замечать, что его тоска и печаль понемногу рассеиваются. Прежде всего исчезла мучившая его в первые дни плавания навязчивая идея шагнуть за борт и решить таким образом раз и навсегда все проблемы. Примерно на двенадцатый день плавания соленый морской воздух вернул ему аппетит и избавил от ночных кошмаров; тошнота, несмотря на качку, перестала терзать его, и он подолгу стоял на палубе, любуясь выпрыгивающими из воды и словно улыбающимися дельфинами, которые сопровождали судно практически на всем пути через океан. К тому моменту, когда на горизонте показались берега Южной Америки, с лица Рольфа сошла болезненная бледность, уступив место легкому загару и румянцу. Взглянув в крохотное зеркальце в общей умывальной для пассажиров третьего класса, он увидел уже не измученного тяжелой болезнью подростка, а взрослого, вполне здорового и крепкого молодого мужчину. Тот парень в зеркале пришелся ему по душе; Рольф глубоко вздохнул и улыбнулся своему отражению – это была первая улыбка, появившаяся на его лице за долгое время.

Наконец судно пришло в порт, и пассажиры стали спускаться по трапу на причал. Ощущая себя флибустьером из какого-нибудь приключенческого романа, чувствуя, как легкий теплый ветерок треплет ему волосы, Рольф Карле покинул борт судна одним из первых. Его глазам в лучах утреннего солнца предстала вся панорама порта. По склонам холмов, окружавших бухту, карабкались разноцветные домики и петляли узкие улочки. Повсюду на перекинутых от дома к дому веревках колыхалось на ветру вывешенное на просушку белье, а фоном для всего этого была буйная растительность всевозможных оттенков зеленого цвета. Воздух словно дрожал от призывных криков уличных торговцев, от голосов певших о чем-то женщин, от детского смеха, криков попугаев, от запахов, от ощущения какой-то светлой и радостной чувственности и от влажного ароматного жара, поднимавшегося над тысячами и тысячами плит на кухнях. Портовый лабиринт из ящиков, тюков и чемоданов ни секунды не оставался безлюдным: носильщики, моряки, приезжающие и отъезжающие, продавцы и покупатели – все куда-то шли, куда-то спешили. В этом калейдоскопе и сумел выловить Рольфа его дядя Руперт. Он приехал встречать парня вместе со своей женой Бургель и обеими дочерьми – девушками крупными, плотного телосложения и розовощекими; разумеется, Рольф мгновенно влюбился в них обеих до беспамятства. Сам Руперт приходился не то двоюродным, не то даже троюродным братом его матери; по профессии он был плотником, а по призванию – большим любителем пива и собак. В свое время он перебрался сюда, на край света, спасаясь от войны; никаких задатков военного он в себе никогда не чувствовал. Ему казалось, что глупо умирать, например, за боевое знамя, – в конце концов, это ведь всего лишь кусок ткани, закрепленный на палке. Патристических убеждений он также не разделял и, как только стало ясно, что войны не миновать, вспомнил о далеких предках, уехавших в свое время в Америку, чтобы основать там колонию, и решил последовать их примеру. И вот теперь он отвез Рольфа Карле с судна прямо в сказочный городок, находившийся в каком-то странном месте, где время, похоже, действительно остановилось, да и с пространством в его географическом понимании происходили необычайные вещи. Жизнь в этом поселении текла точно так же, как в альпийских деревнях в девятнадцатом веке. Увидеть страну, куда он приехал, Рольфу толком не удалось, и несколько месяцев он всерьез полагал, что никакой особой разницы между Карибами и берегами Дуная не существует.

Начиналась же история этого поселения так: в пятидесятые годы девятнадцатого века один просвещенный южноамериканский землевладелец, в распоряжении которого оказалась плодородная долина, зажатая горами не слишком далеко от моря и на сравнительно небольшом расстоянии от цивилизованных районов, решил заселить этот райский уголок колонистами высокой пробы. Зафрахтовав пароход, он поехал в Европу, и вскоре среди крестьян, разоренных войнами и эпидемиями, пронесся слух, что по другую сторону Атлантики их ждет

райский уголок, настоящая утопия. Им предстояло создать тут идеальное общество – город мира, покоя и всеобщего благосостояния. Теоретической основой, объединяющей этих людей, должны были стать общехристианские ценности. Все пороки, соблазны и суетные устремления – бич человечества, терзающий его с тех самых времен, когда только начала зарождаться цивилизация, – предполагалось оставить по другую сторону обступивших долину гор. Для участия в этом социальном эксперименте были тщательно отобраны восемьдесят семей; весомыми факторами при отборе являлись как личные трудовые заслуги кандидатов, так и их добрая воля и осознанное намерение продолжать созидательную работу на благо себе и близким. Среди кандидатов были выбраны представители самых разных профессий и ремесел, включая одного учителя, одного врача и священника. Все переселенцы везли на новое место жительства солидный багаж из своих рабочих инструментов и инвентаря; не менее весомым – в переносном смысле – багажом были знания, традиции и опыт, накопленные этими семьями за долгие века, за все то время, что семейное дело передавалось из поколения в поколение. Впервые оказавшись в тропиках, многие из колонистов не на шутку перепугались, что никогда не смогут освоиться в этих новых условиях, столь непохожих на привычные для них. Тем не менее даже в самых пугливых и осторожных сердцах вновь затеплилась надежда на благополучный исход, как только караван переселенцев поднялся по горной тропе и оказался на перевале, откуда открывался прекрасный вид на землю, которую действительно можно было называть вновь обретенным раем. В этой благословенной долине замечательно росли все традиционно возделываемые в Америке сельскохозяйственные культуры. Прижились здесь и те фрукты с овощами, которые переселенцы привезли с собой из Европы. Колонисты построили в долине несколько деревушек – точные копии тех, где они жили раньше; возвели дома с островерхими крышами и деревянными стропилами и перекрытиями; все вывески на этих домах были исполнены готическим шрифтом; на окнах стояли цветы в горшках, а в самой большой деревне даже была возведена церковь, колокольню которой венчал бронзовый колокол, привезенный колонистами из родных мест. Въезд и выезд из колонии был практически полностью перекрыт: поселенцы сами перекопали часть дороги, по которой можно было попасть в долину. Почти сто лет эта колония прожила в изоляции от внешнего мира, выполняя все данные Богом заповеди и заветы того человека, который перевез сюда крестьян из Европы. Впрочем, бесконечно это продолжаться не могло. В конце концов журналисты пронюхали об уединенном поселении, и в нескольких газетах почти одновременно появились материалы о колонистах-отшельниках. Разразился громкий скандал: правительство, естественно, не считало возможным, чтобы в стране существовало фактически государство в государстве – закрытая для официальных властей территория, населенная сплошь иностранцами и живущая по своим законам и порядкам. Колонистов обязали обеспечить свободный доступ в долину и деревни и не чинить препятствия властям в выполнении управленческих функций, допустить национальный капитал и бизнес на территорию колонии, а также не препятствовать приезду туристов. Когда государственные чиновники впервые оказались в деревнях колонистов, они с изумлением обнаружили, что тут практически никто не говорит по-испански, большая часть жителей – блондины со светлыми глазами, а на лицах многих детей заметны признаки вырождения вследствие немалого числа близкородственных браков. Правительство выделило деньги, чтобы заасфальтировать единственную дорогу, ведущую в уединенную колонию, и с тех пор люди стали с удовольствием приезжать сюда целыми семьями – разумеется, в первую очередь на собственных автомобилях. Эти гости из столицы не скупясь покупали у местных жителей фрукты и овощи, мед, копченую колбасу, домашний хлеб и очаровательные вышитые скатерти, отороченные бахромой. Мало-помалу колонисты начали устраивать в своих домах нечто вроде небольших отелей с ресторанами, где можно было принять и накормить гостей; в некоторых из этих самодельных гостиниц принимали даже приезжавшие из столицы пары, не интересуясь, оформлены ли официально их отношения. Несомненно, такая вольность шла вразрез с первоначальным замыслом

основателя колонии и жизненными принципами большинства поселенцев, но времена менялись, и, чтобы выжить, нужно было приспосабливаться к окружающей жизни. Руперт сумел попасть в колонию, когда та еще была закрытой; он получил разрешение поселиться в одной из деревушек, доказав свое европейское происхождение, а также добрые намерения и верность исповедуемым здесь ценностям. Когда же связь с внешним миром стала реальностью, он оказался одним из первых, кто понял преимущества новой ситуации. Делать мебель, как раньше, стало невыгодно – любой колонист мог съездить в столицу и купить там какой угодно предмет домашнего обихода, изготовленный более качественно и притом более дешевый. Почувствовав такое изменение текущей конъюнктуры, Руперт переключился на изготовление часов с кукушкой и подделок под старинные, раскрашенные вручную игрушки, которые хорошо раскупали туристы. Кроме того, он занялся разведением породистых собак и организовал школу дрессировки; до него никому в этих краях не приходило в голову как-то упорядочить процесс разведения и содержания собак – они размножались и существовали рядом с людьми сами по себе: без кличек, клубов, выставок, стрижек и без всякого специального воспитания. Когда страна стала более открытой, люди потянулись ко всему иностранному и стало известно, что где-то там, за границей, считается модным держать дома немецких овчарок. Богатые граждане решили, что им без таких собак просто не обойтись, и благоразумно посчитали, что следует не просто покупать щенков с отличной родословной, но еще и прививать молодым собакам хорошие манеры. Те, кто мог позволить себе такую роскошь, покупали щенков либо за границей, либо в питомнике Руперта; в любом случае собак оставляли у него на некоторое время для дрессировки. Из этого университета собаки возвращались к хозяевам строевым шагом на задних лапах, отдавали владельцу честь, приносили ему тапочки, ходили за газетами и прикидывались мертвыми, если слышали команду на иностранном языке.

В собственности дяди Руперта были довольно большой участок земли и внушительных размеров дом, большая часть которого была отдана под пансион с небольшими комнатами, отделанными темными деревянными панелями и обставленными собственноручно сделанной Рупертом мебелью; он говорил, что оформил пансион в гейдельбергском стиле. Сам он в Гейдельберге никогда не бывал, а интерьеры и мебель скопировал с иллюстраций в каком-то журнале. Его супруга выращивала клубнику и цветы; она же занималась и большим курятником, где кур было столько, что яиц хватало на всю деревню. В общем, семья зарабатывала на жизнь разведением собак, продажей часов и предоставлением пансиона туристам.

Жизнь Рольфа Карле круто изменилась. Здесь, в колонии, учиться ему было негде, и пришлось ограничиться тем образованием, которое он успел получить дома; в свою очередь, его дядя был твердо намерен научить парня всему, что умел сам, – чтобы тот помогал ему вести семейное дело, а в будущем, возможно, и унаследовал бы его. Дядя не терял надежды рано или поздно женить Рольфа на одной из своих дочерей. Он всегда хотел иметь сына, а племянник оказался просто находкой – о таком наследнике по мужской линии можно было только мечтать: сообразительный, сильный, с хорошими манерами и твердыми нравственными убеждениями, ловкий в работе и с рыжеватыми волосами, как у большинства мужчин в их роду на протяжении многих поколений. Рольф быстро овладел плотницкими инструментами, научился собирать часовые механизмы, ухаживать за клубникой и обслуживать постояльцев в пансионе. Дядя и тетя вскоре сообразили, что парень горы свернет, если его навести на нужную мысль так, будто это его собственная инициатива. Для этого следовало воззвать к его лучшим чувствам.

– Как ты думаешь, Рольф, что бы такое сделать, чтобы крыша курятника не протекала? – спрашивала Бургель, беспомощно вздыхая.

– Надо промазать все щели гудроном.

– Бедные курочки, как только начнутся дожди, они все промокнут, простудятся и помрут.

– Не волнуйтесь, тетя, я об этом позабочусь, дело-то минутное.

После этого молодой человек три дня торчал на крыше курятника, промазывая стыки между досками, и спускался лишь для того, чтобы размешать подогреваемую в котле смолу и по ходу дела объяснить любому прохожему суть разработанной им теории непромокаемости крыш и потолков; наградой ему были восхищенные взгляды обеих кузин, а тете Бургель оставалось только радоваться и прятать чуть снисходительную довольную улыбку.

Рольф решил непременно выучить язык страны, куда забросила его судьба, и не успокоился до тех пор, пока не нашел человека, который помог бы ему изучать язык систематически и методично. У него был хороший музыкальный слух, что позволило ему занять место церковного органиста, а также радовать приезжающих туристов игрой на аккордеоне; общаясь при этом с экскурсантами, он пополнял свой словарный запас огромным количеством разговорных выражений, включая и разнообразные ругательства. Использовал он нецензурные слова лишь в редких случаях, но ценил крепкие выражения как часть своего нового культурного багажа. Все свободное время он посвящал чтению; не прошло и года, как Рольф перечитал все книги, какие только были у жителей деревни. Книги он брал у соседей на время и неизменно возвращал в оговоренный срок. Хорошая память позволяла ему накапливать в уме информацию – по большей части бесполезную и в силу своей отвлеченности не поддающуюся проверке – и время от времени поражать родственников и соседей широтой эрудиции. Зачастую, пользуясь тем, что проверить его слова никто не сможет, он шел на хитрости, позволяющие произвести впечатление на окружающих: например, он мог мгновенно назвать численность населения Мавритании или ширину Ла-Манша в морских милях. Иногда эти цифры соответствовали действительности, а порой он брал их просто с потолка, но делал это с такой уверенностью в голосе, что никому не приходило в голову подвергнуть его слова сомнению и заглянуть в какой-нибудь справочник для проверки. Чтобы придать своим речам больше солидности, он выучил некоторое количество латинских выражений; употреблял он их не всегда к месту, но цели своей добился: его авторитет поднялся на недостижимую высоту. Мать успела привить ему хорошие манеры, пусть даже немного устаревшие и церемонные, но это помогло ему завоевать симпатии большей части колонии, особенно ее женской половины, не избалованной галантностью. С особым почтением он относился к тете Бургель, причем вовсе не по обязанности, а потому, что на самом деле искренне привязался к ней. У дядиной жены был дар развеивать внезапно налетавшую на Рольфа ностальгию и грусть по поводу несовершенства рода человеческого, а также помогать ему в решении разных жизненных проблем, деля на первый взгляд сложную задачу на малозначительные мелочи. Он сам порой удивлялся, что не смог прийти к такому простому и очевидному выходу. Кроме того, она умела избавлять от плохого настроения при помощи бесподобных домашних десертов, а также остроумных шуток. После Катарины она оказалась первым человеком, кто мог подойти и обнять его – без всякой причины и не спрашивая позволения. Каждое утро она звонко чмокала его в обе щеки, а перед сном застилала ему постель и перетряхивала перину; такой заботы он в родном доме не видел – мать не решалась лишний раз заходить к нему в комнату, а уж тем более прикасаться к его постели. На первый взгляд Рольф мог показаться робким и застенчивым юношей; он действительно легко краснел и говорил довольно тихим голосом. Но на самом деле ему отнюдь не был чужд грех тщеславия, а кроме того, он находился как раз в том возрасте, когда молодым людям свойственно надеяться в ближайшем будущем перевернуть весь мир. Он был умнее и начитаннее окружающих и прекрасно знал об этом, однако природный ум и уже накопленный жизненный опыт подсказывали, что лучше держаться скромно и не выставлять напоказ свое превосходство.

Каждое воскресенье к ним с утра приезжали гости и потенциальные покупатели из столицы, и дядя Руперт со своими собаками устраивал для них настоящее шоу. Рольф отводил гостей в большой двор, где были установлены искусственные препятствия и проложены тренировочные маршруты; собаки демонстрировали чудеса ловкости, послушания и сообразитель-

ности под аплодисменты восторженной публики. Естественно, после такого спектакля всегда удавалось продать нескольких щенков. Рольф прощался с ними, как с родными детьми: он действительно заботился о щенятах с самого их рождения, и ничто на свете не могло так растрогать его, как эти беспомощные звериные детеныши. Он заходил в вольер и играл со щенками, позволяя им обнюхивать себя, облизывать уши и даже засыпать у себя на руках. Рольф помнил кличку каждого щенка и, дрессируя их, общался с ними словно на равных. Он буквально изголодался по заботе и ласке, но, воспитанный в строгости и без лишней нежности, осмеливался утолить этот голод лишь в работе с животными. Далеко не сразу он привык к новой для себя манере общения, принятой в дядиной семье, и лишь постепенно пошел на эмоциональный контакт сначала с Бургель, а потом и с остальными родственниками. Воспоминания об оставшейся с матерью Катарине были для него неиссякаемым источником нежности; порой, закрывшись на ночь в своей комнате, он прятал голову под подушку и плакал, вспоминая о сестре.

О своей прошлой жизни он предпочитал не распространяться: во-первых, ему не хотелось вызывать жалость, а во-вторых, он еще и сам не разобрался в своем отношении к пережитому. Мрачные годы, проведенные рядом с отцом, остались в его памяти не цельным образом, а отдельными фрагментами, словно осколки разбитого зеркала. Он всячески выставлял напоказ якобы свойственные ему прагматизм, трезвый расчет и даже определенный цинизм в отношении к жизни, полагая, что эти качества совершенно необходимы настоящему мужчине. На самом же деле в глубине души он был неисправимым мечтателем, которого можно было легко обезоружить проявлением сочувствия и симпатии. Любая несправедливость окружающего мира приводила его в отчаяние; столь искренний, даже простодушный идеализм присущ молодым людям лишь в ранней юности. Такое отношение к жизни, как правило, не выдерживает первого же жесткого столкновения с грубой реальностью. Пережитые в детстве лишения и страхи обострили в Рольфе свойственное ему от рождения чутье на дурные стороны людей и нечистоплотность совершаемых ими поступков; мрачные видения обрушивались на него зачастую совершенно неожиданно, бомбой взрываясь в мозгу. Однако стремление больше опираться на доводы разума, а не интуиции не позволяло ему уделять слишком много внимания этим таинственным видениям и предзнаменованиям, а уж тем более действовать в соответствии с такими необъяснимыми душевными порывами. Он всячески подавлял свои эмоции, за что те старались ему отомстить, обрушиваясь в виде тяжелых душевных переживаний. Кроме того, он стремился подчинить воле ту часть собственной души, которая имела склонность к мягкости и комфортности существования. С самого начала он решил для себя, что колония – это не более чем прекрасный сон, и не уставал повторять, что жизнь полна печалей, несправедливости и горя. Из этого он делал вывод, что нужно закалять душу, делать ее более грубой и менее восприимчивой к тяготам жизни. Лишь в таком случае у него появлялся шанс чего-то добиться и выжить в неблагоприятных обстоятельствах. Однако все, кто его хорошо знал, прекрасно видели, что выстроенная им защита абсолютно эфемерна и любое душевное потрясение не оставит от нее камня на камне. Он жил с обнаженными нервами и шел по жизни, то и дело спотыкаясь о собственную гордость, падая и снова поднимаясь.

Дядя Руперт и члены его семьи были люди простые, душевные и при этом склонные к греху чревоугодия. Еда составляла важнейшую часть их жизни, которая во многом вращалась вокруг того, что происходило на кухне, и рассаживание за обильно накрытым столом превращалось в настоящий ритуал. Все они были довольно полными, но ничуть не стеснялись своего избыточного веса рядом с худощавым племянником, скорее наоборот, им хотелось кормить его как можно чаще и лучше. Тетя Бургель сама придумала особое блюдо – афродизиак; она подавала его туристам и постоянно кормила им мужа, что действительно поддерживало его в боевой форме: вы на него только посмотрите, это же настоящий трактор, читалось в глазах удовлетворенной жизнью и мужем матроны. Рецепт был простой: в большом котле она тушила лук

с салом и помидорами, все это солила, заправляла черным перцем, чесноком и кориандром. В процессе приготовления на эту массу выкладывались слоями другие ингредиенты: свинина, говядина, филе цыпленка, фасоль, кукуруза, капуста, сладкий перец, рыба, мидии и креветки. Все это слегка присыпалось сахарной пудрой, а оставшийся объем котла заполнялся пивом: обычно туда входило четыре кувшина пенного напитка. Прежде чем закрыть котел и оставить блюдо тушиться на медленном огне, хозяйка добавляла туда несколько листиков, стебельков и травинок растений, которые росли у нее в горшках прямо на кухонном подоконнике. В наборе целебных трав как раз и состоял секрет столь благотворного воздействия этого варева на мужской организм; какие именно растения и в какой пропорции она добавляла, держалось в тайне, которую она намеревалась унести с собой в могилу. В результате всех манипуляций в котле образовывалась одноцветная темная масса; сервировали блюдо в обратной последовательности: то, что тушилось меньше всего и находилось наверху, съедали в первую очередь. В конце концов на дне котла оставался густой бульон, который разливался по чашкам. В результате поедания этого роскошного и вкусного блюда по всему телу пробегала волна жара, а в душе возгоралось пламя страсти. Несколько раз в году дядя забивал кабанчика и вместе с женой готовил лучшие во всей колонии копчености: ветчину, длинные сосиски, колбасу «Мортаделла» и замечательное ароматное сало; молоко в этой семье было принято покупать целыми бочками: из него делали сливки, сбивали масло и изготавливали сыры. Из кухни день и ночь по всему дому расплывались аппетитные ароматы, от которых слюнки текли. Во внутреннем дворе были устроены специальные жаровни, в которых разводили настоящие костры; в больших медных кастрюлях, установленных над жаровнями, варились восхитительные джемы из слив, абрикосов и клубники – это лакомство, подаваемое к завтраку, пользовалось особым успехом у гостей пансиона. Жизнь обеих дочерей протекала среди источающих ароматы кастрюль и сковородок; они и сами насковозь пропахли гвоздикой, корицей, ванилью и лимоном. По ночам Рольф бесшумно, как тень, пробирался в ту комнату, где в шкафу висела одежда сестер, и буквально утыкался в платья носом; вдыхая эти сладостные ароматы, он чувствовал, как его душа наполняется порочными, греховными желаниями.

По выходным жизнь в доме резко менялась. Еще в четверг все гостевые комнаты проветривали, а затем украшали свежими цветами; в каждой комнате перед камином укладывали дрова: по ночам в долине гулял свежий ветерок, и гостям нравилось сидеть у камина и смотреть в огонь, воображая, будто они в Альпах. С пятницы по воскресенье в доме всегда было полно народу, и вся семья с утра до вечера обслуживала приезжих, стараясь угодить всем и каждому; тетя Бургель почти не выходила из кухни; девушки накрывали столы и убирали комнаты, одетые, как героини какой-нибудь старинной немецкой сказки: обязательно в фетровых шапочках, белых чулках и с разноцветными лентами в косах.

Письма от госпожи Карле доходили сюда месяца за четыре. Все они были короткими и почти одинаковыми: дорогой сынок, у меня все хорошо, Катарина в больнице, береги себя и помни о том, чему я тебя учила, будь хорошим человеком, обнимаю тебя, твоя мама. Рольф, напротив, писал домой часто и подробно: его письма представляли собой несколько листов, густо исписанных с обеих сторон мелким ровным почерком. В основном он рассказывал маме о том, что прочел в книгах; единожды описав деревню и семью дяди с теткой, он не знал, что еще сказать о своей жизни, и не находил в ней никаких важных событий, достойных упоминания в письме к матери. Куда больше ему нравилось удивлять ее длинными философскими рассуждениями, основные пункты которых были почерпнуты из книг. Кроме того, он посылал ей фотографии, которые делал старым дядиным фотоаппаратом: на его снимках можно было видеть, как изменяется окружающая природа в разное время года, как выглядят живущие по соседству люди, какие события происходят в колонии, – в общем, все те детали, на которые люди по большей части не обращают внимания. Для него самого эти письма значили очень многое: они не только помогали ему ощущать рядом с собой постоянное присутствие матери,

но и смогли открыть в нем склонность к наблюдению за окружающим миром и желание увековечить эти впечатления в словах и образах.

Любви кузин Рольфа Карле добивались два претендента, чей род восходил напрямую к первым переселенцам, основавшим колонию; их родители владели фабрикой по изготовлению свечей ручной работы: продукция этого предприятия в те времена уже продавалась не только по всей стране, но и была известна за границей. Фабрика существует и по сей день, сохраняя былой престиж; во время визита папы римского правительство решило установить в главном кафедральном соборе огромную свечу, семь метров в высоту и два – в диаметре у основания; она должна была гореть непрерывно в течение всего пребывания понтифика в стране; так вот, там, на фабрике, сумели не только отлить свечу требовавшихся размеров, но и украсили ее сценами Страстей Христовых и ароматизировали экстрактом из сосновой хвои. Более того, мастера с фабрики сумели доставить это произведение искусства из долины в столицу в целостности и сохранности: несмотря на убийственно палящее солнце, свеча прибыла в собор в видеobeliska идеальной формы, распространяя вокруг рождественское благоухание и сохраняя в неприкосновенности приданную ей фактуру старого мрамора. Оба жениха, казалось, могли говорить только о своих красителях, ароматизаторах и формах для отливки свечей. Иногда общаться с ними было несколько утомительно, но справедливости ради надо отметить, что оба были хороши собой, достаточно состоятельны и за годы, проведенные на фабрике, пропитались приятным запахом пчелиного воска и ароматических эссенций. В общем, о лучшей партии в пределах колонии нечего было и мечтать. Все девушки окрестных деревень под любым предлогом наведывались в свечной магазин при фабрике, стараясь при этом показаться на глаза ее хозяевам в своих лучших платьях. При всем этом дядя Руперт посеял в душах своих дочерей сомнение относительно возможности стать женами молодых людей, выросших в пределах колонии, чья кровь, скорее всего, уже подпорчена за счет нескольких поколений близкородственных браков. Он считал слишком большим риск, что дети, родившиеся от любого из соседей, могут иметь наследственные болезни и даже уродства. Он открыто встал в оппозицию теории чистоты рас и считал, что только в смешанных браках появляется самое красивое и здоровое потомство. Чтобы доказать правоту своих рассуждений, он скрещивал лучших собак со своей псарни с подобранными неизвестно где бездомными дворнягами. В результате он получал щенков непредсказуемого размера и невиданного окраса, порой на редкость странных и непривлекательных на вид. Естественно, покупать таких собак никто не хотел, зато они показывали просто чудеса сообразительности и поддавались дрессировке гораздо лучше, чем их сородичи с отличной родословной. Некоторые такие метисы научились ходить по канату и танцевать вальс на задних лапах. Будет лучше, если наши девочки поищут себе женихов за пределами колонии, говорил дядя Руперт супруге, но та и слышать не хотела о такой судьбе для дочерей. Сама мысль, что они станут невестами, а затем и женами каких-то темнокожих парней и вскоре по их требованию начнут крутить бедрами в ритме румбы, казалась ей унижительной. Не будь душой, Бургель. Уж если кто дурак, так это ты, – хочешь иметь внуков-мулатов? Ничего ты, женщина, не понимаешь, жители этой страны, конечно, не блондины, но уж во всяком случае не негры. В конце концов, чтобы прервать дискуссию, грозившую перерасти в ссору, оба с умиленным вздохом произносили имя Рольфа Карле; единственное, что понастоящему их огорчало, был тот факт, что такой племянник у них имеется в единственном экземпляре. Как было бы славно, будь их двое – по одному для каждой дочери. Даже дальней родство и неприятный прецедент рождения умственно отсталой девочки Катарины не могли поколебать уверенности дяди и тети, что Рольф был бы для них идеальным зятем. Носителем дефектных генов этот милейший, трудолюбивый, образованный юноша с отличными манерами оказаться просто не мог. На данном этапе его единственным недостатком был только слишком

юный возраст, но, как известно, молодость – это единственная болезнь, от которой существует эффективное лекарство, действующее в равной мере на всех.

Девушкам понадобилось немало времени, чтобы понять, на что же намекают им родители: выросли они в деревне и, как полагается деревенским барышням, придерживались весьма строгих правил. Однако, поняв, к чему клонит старшее поколение, они довольно быстро отбросили излишние условности и несколько показную скромность. Они посмотрели на Рольфа Карле совершенно другими глазами, увидели огонь в его взгляде и заметили, как он украдкой зарывается лицом в их платья. Такое поведение молодого человека они, как им казалось, безошибочно сочли проявлением любви. Между собой они много говорили на эту тему, рассмотрев для начала возможность сохранения платонической любви «на троих». Тем не менее, посмотрев в очередной раз, но уже другими глазами на его обнаженный торс, медного цвета волосы, развевающиеся под порывами ветра, капельки пота, проступавшие на коже, когда он работал в саду или в плотницкой мастерской, девушки пришли к выводу, очень обрадовавшему их самих: судя по всему, Бог не зря и не по ошибке создал людей разнополыми. Сестры отличались легким характером и прекрасно ладили друг с другом с самого детства. Они привыкли делить в жизни буквально все: комнату, ванную, одежду, и теперь возможность делить внимание одного и того же возлюбленного не казалась им чем-то извращенным или нездоровым. В пользу этого решения говорила и отличная физическая форма молодого человека. Ему вполне хватало сил и желания выполнять самую сложную и трудную работу, которую предлагал дядя Руперт. Девушки были абсолютно уверены, что этих сил вполне хватило бы Рольфу и на них обеих. Но все было далеко не так просто. Жителям колонии явно не хватило бы широты взглядов, чтобы признать право на существование такого треугольника. Даже отец сестер, несмотря на весь свой современный либерализм, ни за что не потерпел бы такого бесстыдства в своем доме. О маме нечего было и говорить: чтобы пресечь возможность чего-либо подобного, она вполне могла бы схватить кухонный нож и всадить его в самую уязвимую и незащищенную часть тела собственного племянника.

Вскоре и сам Рольф Карле заметил изменения в поведении девушек. Они подкладывали ему на тарелку самые большие и аппетитные куски жареного мяса, водружали на его десерт целую гору взбитых сливок, шушукались и хихикали у него за спиной и смущались, краснели и убегали, если он заставлял их, когда они за ним подглядывали. Проходя мимо Рольфа, каждая из сестер старалась прикоснуться к нему – как бы невзначай, но эти прикосновения были столь эротичны, что даже умерщвляющий собственные страсти и плоть отшельник не остался бы равнодушным. До этого времени Рольф всегда общался с кузинами деликатно и тактично, чтобы ни в коем случае не показаться невежливым по отношению к приютившей его семье, а кроме того, опасаясь получить отказ, что больно ранило бы его самолюбие. Постепенно он стал посматривать на девушек более дерзко и откровенно. Его взгляд подолгу останавливался на каждой из них. Будучи осторожным и благоразумным, он опасался принять поспешное, а потому ошибочное решение. Какую же из них выбрать? Обе они казались ему очаровательными и в равной мере привлекательными: у обеих были полные бедра, высокая грудь, яркосиние глаза и по-детски нежная кожа. Старшая была более веселой, но и кокетство младшей привлекало юношу не меньше. Сомнения одолевали бедного Рольфа вплоть до того дня, когда девушки устали дожидаться от него проявления инициативы и сами перешли в наступление. Они подкараулили его в огороде между грядок с клубникой. Сестры подставили ему подножку, повалили на землю и начали щекотать в четыре руки, начисто разрушив привычку Рольфа всегда держаться серьезно и с достоинством и в то же время доставив ему редкое удовольствие. По ходу дела они оборвали ему пуговицы на брюках, стянули с него башмаки и порвали рубашку; при этом шаловливые ручки этих озорных нимф прошлись по тем местам его тела, куда сам он еще и не предполагал кого-нибудь допускать. С этого дня Рольфу Карле стало не до чтения, не до щенков, не до часов с кукушкой и даже не до писем матери. Он едва не

забыл собственное имя. Ходил по дому, будто лунатик, – разбуженные и всплывавшие в полную силу инстинкты затмили его разум. С понедельника по четверг, когда в доме не было гостей, ритм домашней работы не был таким напряженным, как по выходным, и у сестер появлялось несколько часов свободного времени, когда они были предоставлены самим себе. В это время они удалялись в гостевые комнаты под самыми благовидными предложениями: проветрить и взбить перины, помыть окна, потравить тараканов, начистить воском мебель, перестелить постели. Девушки унаследовали от родителей стремление к справедливости во всем, а также тягу к порядку; рискованное дело было продумано ими со всей тщательностью: одна из сестер оставалась в коридоре и была готова дать сигнал тревоги, если в опасной близости появлялся кто-то из родителей, а другая в это время запиралась в одной из комнат с Рольфом. Очередность сестры соблюдали прямо-таки с сакральной пунктуальностью. К счастью, сам он не обращал внимания на эту несколько унижительную деталь. Чем молодые занимались, оставшись наедине? Да ничем особенным: они мило играли в те самые игры двоюродных и троюродных сестер и братьев, которые известны человечеству вот уже добрых шесть тысяч лет. Самое интересное началось, когда они решили встречаться по ночам втроем в одной постели; сигналом к началу столь опасного предприятия служил громкий храп Руперта и Бургель, спавших в соседней комнате. Родители не закрывали дверь своей спальни, чтобы быть в курсе всего, что происходит в комнате девочек; те, в свою очередь, были в курсе всего, что происходит у старших, – главным образом, крепко ли те заснули. Рольф Карле был так же неопытен в любовных делах, как и обе его подружки; тем не менее у него хватило сообразительности с первой же интимной встречи принять все меры, чтобы те не забеременели. В альковных играх он сумел недостаток уверенности и опыта заменить энтузиазмом и изобретательностью. Его энергия постоянно подпитывалась обеими сестрами, всегда готовыми исполнить любое его желание. Самым трудным для них в этой ситуации было хранить молчание, особенно девушкам, которые задыхались от невозможности смеяться в полный голос. Впрочем, необходимость соблюдать тишину во время столь приятного занятия в общей для всех троих жаре и общем поту не столько утомляла молодого человека и его приятельниц, сколько, наоборот, подливала масла в костер их страсти. Все трое находились в самом подходящем возрасте, чтобы заниматься любовью чуть ли не беспрерывно, но эффект от полученных удовольствий по-разному проявлялся в облике и поведении девушек и молодого человека. Обе сестры просто расцвели с тех пор, как познали запретные радости: их глаза становились все более яркими и пронзительно-синими, кожа сияла, а улыбки были все лучезарнее. Рольф же позабыл все свои латинские афоризмы и ходил сонный, как осенняя муха, то и дело спотыкаясь о мебель. Туристов он обслуживал словно в полусне: ноги дрожали в коленях, а рассеянный взгляд был устремлен куда-то вдаль. Мальчик совсем заработался. Видишь, Бургель, какой он бледный, нужно подкормить его витаминами, говорил Руперт, понятия не имея о том, что у него за спиной племянник даже не съедает, а прямо-таки сжирает огромные порции знаменитого блюда, укрепляющего любовные силы, – чтобы в нужный момент те самые мышцы, которые так важны при некоторых упражнениях, его ни в коем случае не подвели. Втроем они придумали немало приемов, чтобы получать как можно больше удовольствия. Некоторые встречи оказывались особенно приятными. Парень не желал смириться с тем, что его подружки от природы способны более долгое время участвовать в приятных упражнениях и испытывать наслаждение несколько раз кряду. Чтобы не ударить в грязь лицом и не обмануть их ожиданий, он научился дозировать свои силы, самостоятельно разработав особую технику. Годы спустя он узнал, что точно такие же приемы использовались в Китае еще со времен Конфуция, и сделал вывод: все новое – это хорошо забытое старое, как говаривал дядя Руперт, читая очередной номер газеты. Порой все трое участников любовных игр так уставали под утро, что у них не оставалось сил распрощаться, и они, счастливые, засыпали в одной постели, а их руки и ноги переплетались самым причудливым образом. Молодой человек порой просто полностью исчезал под наваливавшейся на него с обеих сторон мягкой

ароматной девичьей плотью. Сны подружек убаюкивали и его. Просыпались они под первые крики петухов – как раз вовремя, чтобы успеть перебраться каждой в свою постель, пока старшие не застукали их в столь приятном, но недвусмысленно порочном положении. Поначалу сестры планировали, что рано или поздно определят судьбу неутомимого Рольфа Карле, бросив жребий, но по ходу восхитительных постельных сражений пришли к выводу, что с этим молодым человеком их связывает особое, игриво-праздничное чувство, абсолютно непригодное в качестве основы для создания добропорядочной семьи. Будучи особами практичными, они решили, что лучшим выходом будет выйти замуж за приятно пахнущих хозяев свечной фабрики, сохранив кузена в качестве любовника и по возможности родив детей не от законных супругов, а от него, что наверняка позволит избежать скуки в семейной жизни, а кроме того, снизит риск врожденных болезней и пороков у детей. Такой расклад не только не устраивал Рольфа Карле, но даже не приходил ему в голову: вскормленный романтической литературой, рыцарскими романами, он с детства впитал весьма строгие представления о достоинстве и благородстве. Девушки в свое удовольствие планировали хитроумные матримониальные комбинации, а он лишь с огромным трудом подавлял в себе чувство вины за то, что любит обеих кузин, убеждая самого себя, что речь идет только о временной связи; в ходе этих отношений ему, как он считал, предстояло узнать девушек получше и, сделав наконец выбор, жениться на одной из них. Долговременные отношения, не соответствующие общепринятым нормам морали, ни в коей мере не входили в его планы. Более того, все это и так уже начинало попахивать чем-то извращенным. Его разрывал неразрешимый внутренний конфликт между желанием, постоянно подогреваемым волной жара и похоти, исходившей от этих двух пышных женских тел, и собственной внутренней строгостью, требовавшей от него создания моногамной семьи – единственной формы существования для уважающего себя мужчины. Не дури, Рольф, разве ты не видишь, что нам дела нет, женишься ты на одной из нас или нет? Лично я не настаиваю, чтобы ты принадлежал только мне, и моя сестра тоже не имеет ничего против, чтобы делить тебя со мной. Так будет продолжаться, пока мы не выйдем замуж, а потом... потом тоже ничего не изменится. Мы будем встречаться и дальше. Эти откровенные слова стали для Рольфа даже не пощечиной, а сокрушительным ударом по его самолюбию. Он на полтора дня заперся в своей комнате и, пылая гневом, не желал ни прикасаться к своим подругам, ни даже смотреть в их сторону. По истечении этого времени молодость и чувственность взяли свое, причем с еще большей силой, чем прежде. Ему пришлось подобрать осколки чувства собственного достоинства с пола, сложить их куда-то в дальний угол души и продолжать спать с обеими сестрами. Сами же они, эти столь восхитительные в постели подружки, вновь обняли его – каждая со своей стороны – и погрузили в пьянящее облако ароматов гвоздики, корицы, ванили и лимона; чувства Рольфа разгорелись с новой силой и вконец сожгли остатки христианских ценностей в его душе. Так прошло три года – срок, оказавшийся достаточным, чтобы Рольф Карле забыл о мучивших его кошмарах и те уступили место лишь приятным, сладким сновидениям. Как знать, быть может, девушкам удалось бы выиграть сражение за своего любовника против его же собственных убеждений и он навсегда остался бы с ними в униженной роли самца, удовлетворяющего двух ненасытных самочек, и быка-производителя для двух пар, вступивших в близкородственные браки. Все могло бы сложиться именно так, если бы Рольфу Карле не была уготована другая судьба. На роль гонца, которому суждено было сообщить ему эту весть, высшие силы выбрали сеньора Аравену, журналиста по профессии и кинематографиста по призванию.

Аравена писал статьи в самую влиятельную в стране газету. Он был лучшим клиентом пансиона Руперта и Бургель, приезжая к ним каждые выходные и останавливаясь в постоянно зарезервированной для него комнате. Его журналистское перо обладало таким весом в политической жизни страны, что даже во время самой жесткой диктатуры власти не рискнули окончательно заткнуть ему рот. За долгие годы служения журналистике он заработал себе ореол если

не мученика, то по крайней мере честного борца за правду. Это порой позволяло ему публиковать такие материалы, какие его коллеги не осмелились бы даже показать редактору. Сам Генерал и Человек с Гарденией относились к нему демонстративно корректно и якобы даже принимали к сведению излагавшуюся в его статьях критику; таким образом, руководство страны заключило с самым известным журналистом негласный договор, в рамках которого поддерживалось условное равновесие между некой свободой – безусловно, в определенных рамках, – которой обладал этот труженик пера, и возможностью создать демократический образ правящего режима, который правительство обретало, ссылаясь на публикацию его наиболее острых критических статей. Питая слабость к сладкой жизни, он всегда курил толстые сигары, ел как лошадь и был большим любителем и мастером выпить пива или чего-нибудь покрепче; пожалуй, только он сумел победить дядю Руперта в честном поединке, кто кого перепьет, причем тому даже не пришлось играть в поддавки. Кроме почета, полагающегося такому стойкому поглотителю пива, у журналиста была в пансионе еще одна привилегия: только он имел право ущипнуть дочек хозяина за внушительные филейные части. Надо сказать, что делал он это без намерения оскорбить их, а скорее с уважением, отдавая дань восхищения столь роскошным формам. Идите же сюда, мои обожаемые валькирии, позвольте старому писаке возложить ручонки на ваши очаровательные попки, провозглашал журналист, и все, включая даже тетю Бургель, заливисто смеялись, когда девушки со всех ног мчались к его столику и, церемонно приподняв подолы, позволяли журналисту восторженно созерцать восхитительные полушария, прикрытые трусиками соответствующего размера, но совершенно детского фасона. Сеньор Аравена привозил с собой кинокамеру и портативную пишущую машинку; клавиши этого на редкость шумного механизма были истерты от долгого употребления до такой степени, что печатать на ней можно было только вслепую – буквы на клавиатуре уже не читались. Журналист работал за своим столиком на террасе всю субботу и обычно захватывал половину воскресенья. Все это время он неторопливо, двумя пальцами печатал очередную статью, сопровождая творческую работу поеданием колбасы и сосисок и запивая все это дело немислимым количеством пива. Хорошо здесь, говорил он, утопая в клубах сигарного дыма, в этом чистом горном воздухе даже работает не так, как в городе. Иногда он появлялся в пансионе с молодыми девушками – всякий раз с разными. Спутниц он представлял как своих племянниц, и тетя Бургель делала вид, что верит в родственные отношения между ними. А что, говорила она, у нас ведь здесь не какая-то позорная гостиница для свиданок, которых в последнее время понастроили видимо-невидимо, ну а этот сеньор – только ему можно приезжать не с супругой, потому что он человек известный и уважаемый. Вы что, его статьи в газете не читали? Энтузиазма Аравены по поводу очередной дамы хватало, как правило, на одну ночь; наутро, уже устав от нее, он пользовался возможностью отправить «племянницу» в город на первом же грузовике с овощами, уезжавшем на городской рынок. А вот с Рольфом Карле он, наоборот, мог проболтать целый день напролет. Они частенько отправлялись вместе прогуляться по живописным окрестностям деревни. Журналист рассказывал о последних международных событиях, посвящал молодого человека в тайны внутренней политики страны, предлагал ему разные книги и вообще систематизировал процесс поглощения Рольфом печатных изданий; он научил его пользоваться камерой и дал ему несколько уроков пусть не стенографии, но хотя бы основ машинописи. Нельзя тебе оставаться в этой колонии, повторял он, это же дыра, одно дело – старый невротик вроде меня, я действительно с удовольствием сюда приезжаю, чтобы прочистить мозги и вообще прийти в форму, сам понимаешь, в городе я веду далеко не здоровый образ жизни. Но ты молодой парень, как ты можешь жить в этих декорациях? Рольф Карле, конечно, был хорошо знаком с произведениями Шекспира, Мольера и Кальдерона, но вот побывать в настоящем театре ему еще ни разу не доводилось; поэтому уподобление деревни, ставшей ему второй родиной, театральной сцене, казалось ему не совсем правомерным. Но он не считал себя вправе вступать в спор с почтенным маэстро, к которому испытывал безмерное уважение.

– Что ж, племянник, доволен я тобой. Глядишь, через пару лет уступлю тебе часовую мастерскую, нет, серьезно – будешь сам не только собирать часы, но и весь бизнес возьмешь на себя; дело это выгодное, без куска хлеба не останешься, – сказал дядя Руперт в тот день, когда парню исполнилось двадцать лет.

– Если честно, дядя, я бы не хотел становиться часовщиком. Мне кажется, что более подходящим для меня делом будет кино.

– Кино? Это еще зачем?

– Чтобы снимать фильмы. Мне было бы очень интересно снимать документальное кино. Чтобы запечатлеть все, что происходит в мире.

– Ну что ж, лично я, вообще-то, всегда руководствовался в жизни мудрым правилом: меньше знаешь – лучше спишь, но, если тебе так хочется, дело твое.

Тетя Бургель чуть не заболела, узнав, что племянник собирается переехать в столицу: в этот вертеп, бардак и бордель, в это полное опасностей логово пороков, наркотиков, политики и нехороших болезней, где все женщины – хитрые лисы, чтобы не сказать – суки, прости меня, Господи, за такие слова, но как их еще называть, посмотрите только на этих туристок, которые приезжают в колонию и трясут тут кормой, как корабль во время шторма, а носовую часть выпячивают и несут перед собой, чуть не вывалив наружу. Кузины Рольфа поначалу решили переубедить его, воспользовавшись, как им казалось, самым действенным приемом: на некоторое время они отказали ему в своей нежности и ласках. Впрочем, вскоре выяснилось, что это наказание явилось для них не менее суровым, чем для провинившегося. Тогда девушки решили сменить тактику и стали ублажать Рольфа с такой страстью, что он начал худеть с пугающей быстротой. Впрочем, больше всего переживали по поводу близившегося отъезда Рольфа не родственники, а столь горячо любимые им собаки. Нутром почуяв неладное, они потеряли аппетит и слонялись по вольеру с поджатыми хвостами и повисшими ушами, а в их печальные, умоляющие глаза он просто не мог смотреть.

Через два месяца, выдержав эмоциональный натиск искренне любивших его людей и зверей, Рольф Карле все же уехал в столицу поступать в университет; при этом он пообещал дяде Руперту приезжать на выходные, тете Бургель – непременно съесть все галеты, ветчину и мармелад, которыми она нагрозила его в дорогу, а кузинам – соблюдать там, в городе, полное целомудрие, с тем чтобы вернуться к ним истосковавшимся, полным сил и вволю позабавиться с ними на знакомой кровати и под таким знакомым одеялом.

Глава пятая

В то время как в жизни Рольфа Карле происходили столь значительные события, где-то совсем рядом я уже вырастала из детства. Примерно тогда же случилось самое большое несчастье в жизни моей крестной. Сначала я услышала об этом по радио, а затем увидела ее фотографии в бульварных газетах, которые Эльвира покупала втайне от хозяйки. Так я узнала, что крестная произвела на свет какое-то чудовище. Собравшиеся по этому поводу ученые мужи обнародовали свои выводы: эта ошибка природы представляет собой сиамских близнецов третьего типа, которых отличает от других уродцев развитие двух тел и двух голов на общем позвоночнике; подкласс, к которому относилось то, что родила крестная, назывался монопупочным: помимо одного общего позвоночника, несчастные создания располагали лишь одним на двоих пупком. Самым же любопытным и даже уникальным было то, что одна голова этого существа относилась к белой расе, а другая – к негроидной.

– Бедняжки, у них наверняка два отца, – с гримасой отвращения на лице произнесла Эльвира. – Как я понимаю, такие несчастья происходят оттого, что мать в один день переспала с двумя мужчинами. Мне вот уже за пятьдесят, но я никогда в жизни такого себе не позволяла. Не скажу, что жила праведницей, но по крайней мере не допускала, чтобы семя одного мужчины смешивалось у меня в утробе с семенем другого. Я всегда подозревала, что всякие цирковые уродцы и рождаются только от невоздержанности.

На жизнь крестная зарабатывала уборкой офисов по вечерам и ночам. Она как раз оттирала пятна с ковра на десятом этаже какого-то административного здания, когда неожиданно для нее самой у нее начались схватки; она решила, что до самих родов еще далеко, и продолжала работать, мысленно проклиная себя за то, что некоторое время назад не смогла устоять перед искушением и теперь расплачивалась за свои грехи этой позорной беременностью. Вскоре после полуночи она почувствовала, как у нее по бедрам стекают какие-то теплые струйки, и решила, что пора собираться в больницу; к сожалению, было уже поздно: силы оставили ее, и она не смогла спуститься на первый этаж и выйти на улицу. Она кричала во все горло, но в пустом здании не было ни души. Решительно настроенная ни в коем случае не испачкать только что собственноручно отчищенное, она перебралась в какой-то угол, села на пол и отчаянно тужилась до тех пор, пока ребенок не появился на свет. Увидев этого двухголового уродца, она не на шутку растерялась и на некоторое время лишилась не только дара речи, но и способности вообще что-то соображать. Когда она чуть пришла в себя, первой мыслью было: избавиться от чудовищного младенца, причем сделать это как можно скорее. С трудом поднявшись на ноги, крестная подняла новорожденного с пола и бросила его в большой ящик, куда обычно сваливала мусор из всех урн на этаже. Затем, все еще покачиваясь, с трудом переставляя дрожащие ноги, она вернулась в недомытый кабинет и заново отчистила ковер. На следующий день в подвал здания зашел консьерж и, по привычке покопавшись в конторском мусоре, с ужасом обнаружил в контейнере мертвого младенца. Трупик оказался практически невредим, потому что упал в основном на мягкую бумагу. На крики консьержа сбегались буфетчицы из кафетерия, и буквально через несколько минут страшная новость была уже известна всей улице, а вскоре и всему городу. К полудню этот скандал разнесся по всей стране, а к злосчастному мусорному контейнеру собрались не только местные, но и иностранные журналисты, желавшие сфотографировать редчайшего уродца. Как выяснилось, такое сочетание генов двух рас у сиамских близнецов еще не было отмечено в анналах медицины. В течение целой недели все только об этом и говорили, остальное пропускалось мимо ушей и мгновенно забывалось, включая и смерть двух студентов, застреленных жандармерией у главного входа в университет за то, что они размахивали красными флагами и пели «Интернационал». Вслед за журналистами публика называла мать ребенка-уродца выродком, чудовищем, убийцей и вра-

гом науки: последним титулом крестную наградили после того, как она отказалась передать тело младенца в Институт анатомии и настояла на захоронении на кладбище с соблюдением всех положенных католических обрядов.

– Ну ничего себе: сначала убивает ребенка, выбрасывает его в мусор, как протухшую рыбину, а после этого, видите ли, хочет похоронить его по-христиански. Нет, птичка моя, Бог никогда не простит эту преступницу.

– Бабушка, но ведь еще не доказано, что именно крестная его убила...

– А кто же, как не она?

Полиция продержала подозреваемую в убийстве мать за решеткой несколько недель, до тех пор, пока на страницы газет не пробился судебно-медицинский эксперт, с самого начала отстаивавший точку зрения, отличную от той, что больше всего устраивала публику. Он, как специалист, вполне убедительно доказал: ребенок скончался вовсе не оттого, что его бросили в ящик с мусором, – младенец был мертв еще до рождения. Наконец органы правосудия освободили бедную женщину, чья жизнь все равно была уже искалечена: никто не хотел верить в официальную версию, и чудовищные газетные заголовки преследовали мою крестную еще много месяцев. Жестокое и непредсказуемое общественное мнение твердо встало на сторону несчастного младенца, и его мать называли не иначе как «убийцей маленького монстра». Вся эта, прямо скажем, неприглядная история вконец расшатала нервы крестной; она не могла отделаться от чувства вины за то, что произвела на свет такое страшилище, и к тому моменту, когда ее выпустили из тюрьмы, была уже не тем человеком, что раньше. Она убедила себя, что и беременность, и роды были посланы ей свыше как Божья кара за какой-то страшный грех, которого она не только не помнила за собой, но и не могла себе представить. Она перестала появляться на людях и все больше времени проводила в одиночестве в своей лачуге. Последней попыткой крестной как-то побороть обрушившееся на нее несчастье стало обращение к местным колдунам. Они нарядили ее в саван, уложили в вырытую яму и даже присыпали землей. Затем вокруг этой импровизированной могилы поставили горящие свечи и долго окуривали несчастную женщину дымом, тальком и камфорой. Так продолжалось до тех пор, пока из горла пациентки не вырвался душераздирающий вопль. Это было расценено как исход злого духа из ее тела, и крестной разрешили подняться из могилы, после чего повесили на шею священное ожерелье, которое не должно было позволить духам зла вновь поселиться в ней. Когда мы с Эльвирой решили провести мою крестную, то без труда нашли ее в том же самом домике, выкрашенном ярко-синей краской. Она не то чтобы похудела, но потеряла былую упругость и крепость тела. Кожа ее обвисла, а походка лишилась прежней кокетливой привлекательности. Все стены в комнате от пола до потолка были увешаны какими-то католическими гравюрами вперемежку с изображениями индейских божеств, а единственным существом, составлявшим ей компанию, была все та же забальзамированная пума.

Поняв, что, сколько ни молись перед святыми образами, сколько ни обращай к колдунам и ведьмам, сколько ни пей прописанных знахарями травяных отваров, неприятности и несчастья тебя не минуют, крестная поклялась перед алтарем Девы Марии никогда больше не вступать в плотскую связь ни с одним мужчиной. Чтобы в минуту помутнения рассудка невзначай не нарушить данную клятву, она договорилась со знакомой повивальной бабкой, чтобы та зашила ей влагалище. Через несколько дней она чуть не умерла от занесенной во время этой процедуры инфекции. Чтобы излечиться, она испробовала все, и притом одновременно. Что именно спасло ее, крестная так и не узнала: возможно, антибиотики, прописанные ей врачами в больнице, возможно, свечи, зажженные у образа святой Риты¹¹, а может быть, и травяные отвары, которые она пила в огромных количествах. Выздоровление не принесло ей

¹¹ *Святая Рита Кашийская* (1381–1457) – средневековая святая, монахиня-августинка, заступница в невозможных делах; к ней обращаются те, кто желает сохранить чистоту, и те, кто страдает в браке.

облегчения: с того времени она стала окончательно спиваться и совсем помешалась на своем религиозном бреде. Вконец сбившись с нормального жизненного пути, она явно тронулась рассудком и зачастую уже не узнавала старых знакомых или же ходила по улицам, негромко бормоча под нос какие-то бессвязные обрывки фраз, в которых то и дело поминала дьявольское отродье, появившееся на этот свет из ее лона. Работать в таком состоянии она, естественно, не могла; впрочем, после того, как благодаря стараниям журналистов она стала известна на всю страну, никто и не взял бы ее ни на какую работу. Время от времени она исчезала куда-то, и от нее не было ни слуху ни духу. Я уже начинала опасаться, что она умерла, но всякий раз она совершенно неожиданно вновь объявлялась у нас в доме, все более мрачная и истощенная, с вечно воспаленными глазами. С собой она неизменно приносила какую-то специально подобранную веревку с семью мерными узелками; с помощью этого приспособления она измеряла окружность моего черепа, пребывая в уверенности, что это самый верный способ проверить, сохранила ли я еще свою драгоценную девственность. Кто и когда научил ее этой ереси, я так и не узнала. Что же касается девственности, то крестная ее просто обожествляла. Это твое единственное сокровище, сбивчиво, срывающимся голосом говорила она, пока ты непорочна, ты еще хоть чего-то стоишь, но, как только потеряешь свою чистоту, превратишься в ничто. Я слушала ее, но никак не могла взять в толк, почему именно та, самая постыдная и, судя по всему, тесно связанная с понятием греха, часть моего тела одновременно является столь ценной и важной.

Крестная подчас по несколько месяцев не получала за меня причитающуюся мне зарплату, а потом являлась к хозяйке в неурочный день и требовала денег, то умоляя ее о милости, то даже переходя на угрозы. Вы тут над моей девочкой просто издеваетесь, говорила она, голодом ее морите, посмотрите, она же совсем не выросла, худенькая, в чем только душа держится, а еще злые языки говорят, будто хозяин любит полапать ее, и это мне совсем не по душе, знаете, как это называется? Раствление малолетних, ни больше ни меньше. Когда крестная появлялась на пороге нашего дома, я тотчас же пряталась от нее в гробу Эльвиры; хозяйка же, проявляя чудеса упорства, упрямо отказывалась повысить мне зарплату и в один прекрасный день сообщила крестной, что если та в следующий раз опять начнет приставать к ней с дурацкими просьбами или тем более поднимет скандал, то она, хозяйка, вызовет полицию. Ничего-ничего, они тебя уже хорошо знают, долго церемониться с тобой не будут, скажи спасибо, что я вообще взяла на содержание твою девчонку; если бы не я, ее бы уже на этом свете не было, умерла бы, как твой уродец двухголовый. Все это становилось просто невыносимым, и в конце концов хозяйка, потеряв терпение, уволила меня и выставила из дому.

Прощаться с Эльвирой мне было очень тяжело. Больше трех лет мы были вместе, она дарила мне свою нежность, а я рассказывала ей свои невероятные истории и сказки. Мы помогали друг другу, прикрывали одна другую в трудную минуту и вместе радовались всему хорошему, что было в нашей жизни. Мы спали в одной кровати, играли в бдения у гроба, и, как оказалось, за эти годы между нами установилась крепкая, практически неразрывная связь. Мы с Эльвирой знали, что не одиноки в этом мире и всегда готовы прийти на помощь друг другу, чтобы хоть немного облегчить тяжкую долю служанки, выпавшую нам обеим. Эльвира не смирилась с неизбежностью расстаться навсегда и старалась встречаться со мной как можно чаще. В первое время она находила меня везде, где бы я ни оказалась. Как ей это удавалось, осталось для меня загадкой. Она появлялась на пороге очередного дома, где я работала, как добрая заботливая бабушка; у нее с собой всегда была баночка мякоти гуайявы с сахаром или несколько купленных на рынке леденцов. Мы садились за стол лицом к лицу и подолгу смотрели друг на друга, пытались вложить не в слова, а во взгляд переполнявшую наши сердца нежность. Перед тем как уйти, Эльвира всегда просила меня рассказать ей какую-нибудь сказку, причем такую, чтобы та продолжалась сама собой и чтобы ей хватило этой сказки до нашей

следующей встречи. Некоторое время мы продолжали видаться достаточно регулярно, но затем по прихоти слепой и безжалостной судьбы потеряли друг друга из виду.

В моей жизни начался период скитаний из одного дома в другой. Крестная то и дело меняла место моей работы, требуя каждый раз все более высокой оплаты за мои труды. Большого наплыва желающих высоко оценить мои услуги не наблюдалось: это было вполне объяснимо, учитывая, что в те годы многие девочки моего возраста работали вообще без зарплаты, только за еду. В какой-то момент я сбилась со счета и сейчас вряд ли могу вспомнить все дома, где мне довелось жить и работать; в памяти сохранилось только то, что забыть оказалось совсем уж невозможно, – например, дом, хозяйка которого увлекалась так называемым фарфором холодного изготовления: это не то ремесло, не то искусство сыграло в моей жизни свою роль, когда много лет спустя послужило поводом, чтобы пуститься в одно невероятное приключение.

Этой хозяйкой была женщина родом из Югославии, не слишком хорошо говорившая по-испански и готовившая какие-то странные, непривычные для меня блюда. В свое время она открыла формулу Универсального Материала – так скромно она называла смесь намоченной в воде газетной бумаги, обыкновенной муки и цемента, используемого для зубных пломб; хорошенько перемешав все ингредиенты, она получала неприглядную серую массу, главным свойством которой была податливость во влажном состоянии и каменная твердость после высыхания. С помощью этого материала хозяйка действительно могла имитировать практически любую фактуру, за исключением прозрачного стекла и стекловидной поверхности глаза. Эту смесь она подолгу месила, затем заворачивала в мокрую тряпку и убирала в холодильник, доставая оттуда любимый материал по мере необходимости. Мокрое тесто можно было мять, как глину, придавая ему нужную форму, а можно было раскатать скалкой до толщины шелковой ткани; материал-полуфабрикат можно было резать, придавать его поверхности разную текстуру и растягивать во все стороны. После высыхания и затвердения полученный предмет покрывался лаком, а затем его можно было раскрашивать подо что угодно: дерево, металл, ткань, фруктовую мякоть, мрамор, человеческую кожу – в общем, имитировать все. Дом этой югославской иммигрантки представлял собой настоящую выставку возможностей применения такого замечательного материала: в прихожей стояла ширма из якобы самого настоящего индийского черного дерева; по углам гостиной располагались четыре мушкетера в бархатных камзолах, кружевных воротниках и с обнаженными шпагами; украшенный индийским орнаментом слон служил столиком для телефона, а фрагмент римского фриза возвышался в изголовье хозяйской кровати. Одна из комнат была превращена в гробницу фараона: на дверях рельефы на погребальные сюжеты, светильники представляли собой фигуры черных пантер с лампочками в глазах, стол имитировал отполированный до блеска саркофаг, инкрустированный фальшивым лазуритом, ну а пепельницы, разумеется, были сделаны в форме невозмутимых сфинксов с углублением в одном боку, куда, собственно, и полагалось стряхивать пепел и складывать окурки. Я бродила по этому музею и больше всего боялась, что какая-нибудь из штуквин развалится прямо под метелкой для смахивания пыли. Мне почему-то казалось, что остальные предметы, вылепленные из Универсального Материала, непременно отомстят мне за разрушение кого-либо из им подобных: я всерьез боялась, что мне в спину в один прекрасный день вонзится либо шпага мушкетера, либо бивень слона, либо клыки и когти пантеры. Этот дом стал местом, где проснулось мое восхищение и преклонение перед культурой Древнего Египта и одновременно возник страх перед самым обыкновенным тестом. Югославка сумела заронить мне в душу недоверие ко всем неодушевленным предметам: с того времени мне мало видеть какую-нибудь вещь, я обязательно должна подойти и прикоснуться к ней, чтобы понять, настоящий ли это предмет или же подделка из Универсального Материала. За месяцы, что я проработала в том доме, я вполне освоила искусство работы с так называемым холодным фар-

фором, но у меня хватило благоразумия не поддаться соблазну и не увлечься этим делом все-ръем. Искусство может стать всепоглощающей страстью для неосторожно увлекшегося человека; освоив секреты работы с подобным материалом, художник может начать беспрерывно копировать все, что только можно себе представить, и рано или поздно создаст свой собственный мир, состоящий из одних подделок, в котором он заблудится и не найдет дороги обратно.

Война в Европе здорово расшатала нервы моей хозяйки. Она была уверена, что за ней повсюду следят какие-то шпионы и недоброжелатели, жаждущие ее крови; чтобы не дать им осуществить свои коварные замыслы, она окружила дом высоким каменным забором, утыканным по верхней кромке битым стеклом; кроме того, в спальне, в ящике ночного столика, держала два пистолета. В этом городе сплошные бандиты, говорила она, одинокая вдова должна иметь возможность защитить свой дом и свою жизнь, пусть только кто-нибудь сунется ко мне, сразу же получит пулю в лоб; и пули уготованы не только бандитам: в тот день, когда власть в стране захватят коммунисты, я сама пристрелю тебя, Эвита, чтобы ты умерла быстро и не мучилась под их гнетом, а последним выстрелом размозжу голову самой себе. Несмотря на рисуемые передо мной мрачные перспективы, эта женщина относилась ко мне неплохо, с уважением и, я бы даже сказала, с некоторой нежностью; она следила за тем, чтобы я ела досыта, купила мне хорошую кровать и почти каждый день приглашала меня в гостиную послушать вместе с нею очередные радиосериалы. *И вот открываются ожившие страницы книги эфира, чтобы погрузить вас в мир чувств и романтических переживаний новой главы...* Мы сидели на диван бок о бок, между мушкетерами и слоником, и, уплетая печенье, затаив дыхание слушали новые главы сериалов – порой по три штуки кряду: две истории, например, про любовь, а одну – детективную. С этой хозяйкой мне было легко общаться, да и вообще чувствовала я себя в ее доме свободно и раскованно. Более того, у меня впервые в жизни появилась не просто крыша над головой, а что-то похожее на собственный очаг. Пожалуй, единственным неудобством этого периода моей жизни был тот факт, что дом находился на самом краю города и Эльвире было нелегко добираться в такую даль; тем не менее, несмотря ни на что, всякий раз, когда у нее выдавался свободный вечер, она, как и подобает самой настоящей бабушке, шла проведать внучку. Ай, птичка моя, как же я устала, пока до тебя добиралась, но еще больше я устаю, когда тебя не вижу, каждый день я молюсь Богу, чтобы Он дал тебе благоразумие, как подобает взрослой девушке, а мне здоровье, чтобы я могла заботиться о тебе, говорила мне она.

Я наверняка задержалась бы в том доме надолго, ведь крестной не на что было жаловаться: хозяйка платила ей за меня вполне приличные деньги и делала это с завидной пунктуальностью. Тем не менее одно странное, надолго оставшееся для меня необъяснимым событие мгновенно положило конец моему сравнительно комфортному существованию в доме югославки. Дело было в ветреный вечер, примерно часов в десять: мы обе, и я, и хозяйка, услышали какой-то непонятный звук, нечто похожее на отдаленную барабанную дробь. Воинственная, до зубов вооруженная вдова позабыла про свои пистолеты, закрыла жалюзи и шторы и просидела весь вечер, дрожа от страха, не рискуя высунуться и выяснить причину этого акустического феномена. На следующий день мы вышли в сад и обнаружили на лужайке четырех мертвых кошек, обезглавленных, растерзанных и со вспоротыми животами. На заборе были выведены кровью несколько ругательств. Я вспомнила, что уже слышала по радио о таких происшествиях: эти выходки приписывались властями подростковым бандам, члены которых самоутверждались через подобную жестокость. Я попыталась убедить в этом свою хозяйку и объясняла, что волноваться, собственно говоря, нечего; увы, все было бесполезно. Обезумевшая от страха югославка решила немедленно покинуть страну, пока на глазах наглежащие и набирающие силу большевики не сделали с ней то же самое, что с теми несчастными кошками.

– Повезло тебе, – сообщила мне крестная, – я договорилась пристроить тебя на работу в дом министра.

Новый хозяин оказался человеком не то серым, не то вообще каким-то бесцветным, какими, впрочем, были практически все общественные деятели того периода нашей истории, когда политическая жизнь была полностью заморожена и любое проявление индивидуальности, а уж тем более оригинальности могло привести любителя выделиться в некий подвал, где всеми делами заправлял благоухающий французским одеколоном человек с неизменным бутонем в петлице. Министр принадлежал к высшей аристократии страны как по рождению, так и по размерам своего состояния. Богатство и принадлежность к знатному роду являлись для него своего рода индульгенцией и словно бы давали ему право вести себя по-хамски, не считаясь ни с какими общепринятыми нормами. Впрочем, в какой-то момент он все же окончательно перешел границы дозволенного, и от него отвернулись даже члены того семейства, родством с которым он так кичился. Из Министерства иностранных дел он был уволен, когда его застали за тем, что он мочился в главном геральдическом зале за тяжелой портьерой из темно-зеленой парчи. Несколько раньше его по точно такой же причине уже выставляли со скандалом из посольства одной зарубежной державы. Тем не менее столь дурная привычка, абсолютно несовместимая с правилами дипломатического протокола, как выяснилось, не являлась в нашей стране препятствием для того, чтобы человек мог занять кресло руководителя одного из министерств. Главными же достоинствами и добродетелями господина министра были способность угождать Генералу и редкий талант оставаться незамеченным в любой сколько-нибудь сложной или невыгодной для него ситуации. По-настоящему известным его имя стало лишь много лет спустя, когда министр бежал из страны на собственном самолете. В суматохе и спешке, не без оснований опасаясь за свою жизнь, он где-то не то потерял, не то забыл целый чемодан, под завязку набитый золотом. Впрочем, насколько стало известно журналистам, даже в изгнании он не испытывал недостатка в этом металле. У нас, в столице, он жил в шикарном, похожем на дворец особняке, стоявшем посреди большого тенистого парка, где росли огромные, как мифические спруты, папоротники, а с деревьев свисали самые настоящие дикие орхидеи. По ночам в зарослях этого парка вспыхивали красные огоньки: так светились глаза не то гномов, не то какой-то другой нечисти, жившей под покровом пышной растительности, не то самых обыкновенных летучих мышей, вылетающих из-под крыши, где они спали целый день напролет, и отправлявшихся на ночную охоту. Разведенный, не имевший ни детей, ни друзей, министр так и жил в этом заколдованном доме один. Места здесь было с избытком как для него самого, так и для прислуги; многие комнаты были заперты на замок, и их двери годами не открывались. Меня просто завораживали эти коридоры с шеренгами запертых дверей по обе стороны; мне казалось, что из закрытых комнат доносятся чьи-то голоса, стоны и смех. Поначалу я останавливалась, прижималась ухом к какой-нибудь двери или пыталась заглянуть в замочную скважину, но вскоре мне уже не приходилось прибегать к столь примитивным методам познания тайных миров, скрывавшихся за каждой из дверей. Эти миры жили по своим собственным законам, время в них тоже текло по-особому, не так, как у нас, а их обитатели были просто припрятаны кем-то на будущее, чтобы не расходовать их попусту при каждодневном использовании. Я дала каждой из комнат собственное звучное название, одно из тех, что когда-то слышала в маминых сказках: Катманду, Медвежий дворец, пещера Мерлина, – мне было достаточно лишь чуть-чуть напрячь воображение, чтобы пройти сквозь доски и штукатурку и оказаться в самой гуще сказочных событий, разворачивавшихся по ту сторону стен, за потайными дверями.

Не считая шоферов и телохранителей, постоянно пачкавших паркет и воровавших хозяйское спиртное, в особняке жили и работали кухарка, старый садовник и дворецкий. К ним присоединилась и я, так никогда и не узнав, зачем меня сюда взяли и каковы были условия соглашения между хозяином дома и моей крестной; по правде говоря, я там не слишком перерабатывала. Не получая никаких особых указаний и распоряжений, я целыми днями гуляла по саду, слушала радио, придумывала истории для запертых комнат или же рассказывала уже

придуманные сказки другим слугам, которые взамен закармливали меня сладостями. Непосредственно на меня были официально возложены всего две обязанности: чистить до блеска обувь хозяина и выносить за ним ночной горшок.

В первый день моей работы на новом месте в доме министра устраивали прием для всяких послов и политиков. Раньше мне еще не доводилось видеть столь масштабных приготовлений. Сначала к дому подъехал грузовик, доверху набитый круглыми столами и стульями с позолоченными спинками; из кладовой были извлечены вышитые скатерти, а из бездонных буфетов в столовой – банкетная посуда и приборы с выгравированной и позолоченной монограммой уважаемого рода, к которому принадлежал мой хозяин. Дворецкий вручил мне специальную тряпку, которой я должна была наводить блеск на хрусталь. Эта работа пришлась мне по душе: я ощутила неописуемый восторг от музыкального перезвона соприкасающихся рюмок и бокалов и вспыхивающей на хрустальных гранях и округлых поверхностях радуги, что происходило всякий раз, как только я извлекала очередной бокал из темного ящика на свет. Ближе к вечеру привезли огромную корзину роз: цветы расставили в фарфоровых вазах по всем гостиним. На столы водрузили извлеченные из буфета на кухне полированные серебряные графины и блюда для фруктов. Из кухни в комнаты для приема перекочевывали бесчисленные тарелки с разнообразно приготовленной рыбой, мясом, привезенными из самой Швейцарии сырами, глазированными фруктами и грудями сладких булочек и печенья, выпекать которые дворецкий подрядил монахинь из ближайшего монастыря. Гостей обслуживали десять официантов, все в белоснежных перчатках. Я же подсматривала за происходящим из-за портьер, отгораживавших дверь гостиной от служебных помещений. Все, что я разглядела, изрядно пополнило мои знания и стало великолепным новым материалом для украшения самых изысканных сказок. Теперь я вполне авторитетно могла отправлять своих героев на королевские пиры и балы, радуясь, что узнала огромное количество всяких полезных подробностей и деталей светской жизни, о которых сама бы, понятное дело, никогда не догадалась: откуда мне, например, было знать, что на такие приемы специально приглашают музыкантов во фраках, которые целый вечер играют на террасе какую-нибудь легкую танцевальную музыку; что гостям подают запеченных фазанов, фаршированных каштанами, головы которых украшают изящные хохолки из длинных перьев; а чего только стоил вид зажаренного на углях мяса, которое подавали, предварительно облив крепким ликером, и затем уже при гостях поджигали, отчего над блюдом взметались языки голубоватого, почти прозрачного пламени. Я не ушла спать до тех пор, пока дом не покинул последний из гостей. На следующий день я участвовала в общей уборке, пересчитывала и раскладывала по коробкам приборы, убирала поломанные или увядшие цветы, расставляла по местам все, что доставали специально для банкета. Дом возвращался к привычному ритму жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.